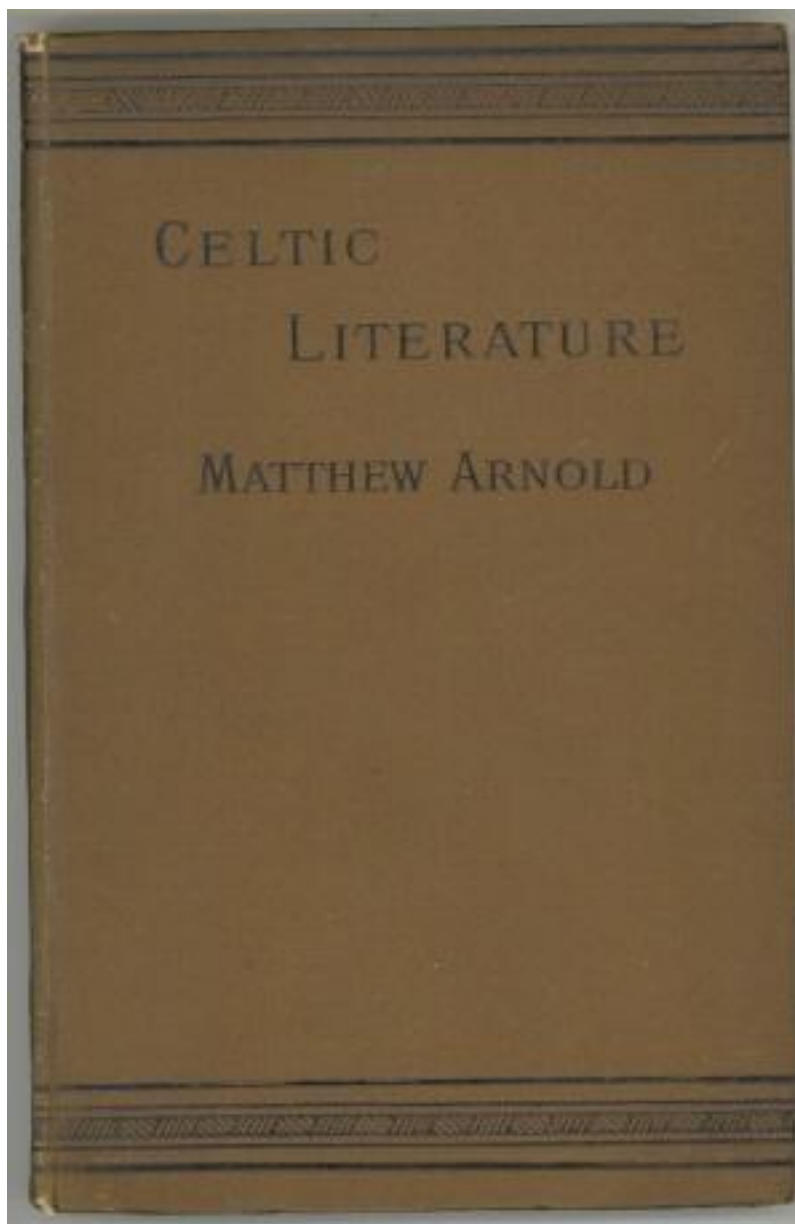


Кельтская литература

Мэтью Арнольд



The Project Gutenberg eBook of Celtic Literature

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинстве других частей света без каких-либо затрат и почти без ограничений. Вы можете копировать ее, дарить или повторно использовать на условиях Лицензии Проекта Гутенберга, прилагаемой к этой электронной книге или на сайте www.gutenberg.org. Если вы находитесь не в Соединенных Штатах, то перед использованием этой электронной книги вам придется ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь.

Название: Кельтская литература

Автор: Мэтью Арнольд

Дата выхода: 1 февраля 2004 [eBook #5159]

Последнее обновление: 20 июля 2014 г.

Язык: Английский

*** НАЧАЛО ПРОЕКТА GUTENBERG EBOOK CELTIC LITERATURE ***

Переписано из издания 1891 года "Смит, Элдер и Ко" Дэвидом Прайсом, электронная почта ssx074@pglaf.org.

ИЗУЧЕНИЕ КЕЛЬТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

МЭТЬЮ АРНОЛЬД

Популярное издание

ЛОНДОН

СМИТ, ЭЛДЕР И КО, 15 ВАТЕРЛОО ПЛЕЙС
1891

[Все права защищены]

ВВЕДЕНИЕ.

Следующие замечания по изучению кельтской литературы составили содержание четырех лекций, прочитанных мной на кафедре поэзии в Оксфорде. Впервые они были опубликованы в журнале "*Корнхилл*" и теперь перепечатываются оттуда. Снова и снова, в ходе их чтения, я отмечал весьма скромные цели; а именно, не рассматривать какую-либо специальную отрасль научных кельтских исследований (задача, для которой я совершенно некомпетентен), но указать на многие направления, в которых результаты этих исследований представляют общий интерес, и настаивать на пользе, которую мы все можем извлечь из более глубокого познания кельтов и кельтских вещей. Однако невозможно было не

затронуть некоторые моменты этнологии и филологии, которые могут быть надежно обработаны только теми, кто сделал эти науки предметом специального изучения. Здесь простой литературный критик должен быть обязан своей безопасностью такту в выборе авторитетов для следования, и все, что он выдвигает, должно быть понято как выдвинутое с чувством ненадежности, которая, в конце концов, связана с таким способом работы, и как выдвинутое условно, путем гипотезы, а не уверенного утверждения.

Чтобы ясно показать читателю как этот предварительный характер многого, что я выдвигаю, так и мое собственное ощущение этого, я вставил в качестве проверки некоторых позиций, принятых в тексте, примечания и комментарии, которыми меня любезно снабдил лорд Стрэнгфорд. Лорд Стрэнгфорд едва ли менее известен тем, что знает этнологию и языки так научно, чем тем, что знает так много о них; и его интерес, даже с позиции его научных знаний, и после того, как он сделал все необходимые резервы по пунктам научных деталей, к моему лечению, - только с ресурсами и точкой зрения литературного критика в моем распоряжении, - такого предмета, как изучение кельтской литературы, является самым обнадеживающим заверением, которое я мог бы получить, что моя попытка не совсем напрасна.

И лорд Стрэнгфорд, и другие люди, чье мнение я уважаю, сказали, что я несправедлив, называя мистера Нэша, остроумного и эрудированного автора книги *"Талиесин, или Барды и друиды Британии"*, "кельтоненавистником". "Он обличает, - пишет лорд Стрэнгфорд в примечании к этому выражению, - кельтскую экстравагантность, вот и все; он анти-филокельт, что очень отличается от анти-кельта и совершенно необходимо в научном исследовании". Поскольку до сих пор филоселтизм, - до сих пор, не забывайте, - не означал ничего, кроме некритического принятия и иррационального восхищения высказываниями и поступками любимого объекта, без привязки к истине в ту или иную сторону, в интересах науки, несомненно, поддерживать его в основном. Проследившая работу старой кельтской закваски в стихах, которые воплощают кельтскую душу всех времен в средневековой форме, я не вижу, чтобы вы вступали с ним в какую-либо необходимую оппозицию, поскольку ваша забота - дух, а его - только содержание". Я полностью согласен почти со всем, на чем настаивает лорд Стрэнгфорд, и действительно, я так искренне уважаю критическую проницательность и образованность мистера Нэша и так безоговорочно признаю полезность во многих отношениях выполняемой им работы по разрушению, что, первоначально назвав его кельтоненавистником, я поспешил добавить, как читатель увидит, обратившись к этому отрывку, [0a] слова объяснения и извинения за то, что так его назвал. Но я думал тогда и думаю до сих пор, что мистер Нэш, продолжая свою работу по разрушению, слишком сильно отодвигает на задний план позитивную и конструктивную работу, для которой эта работа по разрушению должна расчистить почву. Я думал тогда и думаю до сих пор, что в этом кельтском споре, как и в других спорах, наиболее желательно верить и исповедовать, что работа по строительству - это плодотворная и важная работа, и что мы сносим только для того, чтобы подготовиться к ней. Скептицизм мистера Нэша кажется мне, - в том аспекте, в котором его работа, в целом, показывает его, - слишком абсолютным, слишком неподвижным, слишком без будущего; и это имеет тенденцию делать его, для некельтской части его читателей, менее плодотворным, чем он был бы в противном случае, а для его кельтских читателей - резким и отталкивающим. Поэтому я оставил свои замечания о мистере Нэше в силе, хотя и с небольшими изменениями; но я надеюсь, что он прочтет их в свете этих объяснений и поверит, что мое чувство уважения к его работе в тысячу раз сильнее, чем мое чувство расхождения с ней.

Подвести к твердой почве, где кельт может с законным удовлетворением указать на следы даров и трудов своей расы и где англичанин может побудить себя сочувствовать этому удовлетворению и испытывать к нему интерес, - вот цель всех соображений, высказанных в нижеследующем очерке. Любезно приняв волю к действию, мой старый знакомый валлиец мистер Хью Оуэн принял мои замечания с таким радушием, что попросил меня приехать прошлым летом на Эйстедфод в Честер и прочитать там доклад на какую-нибудь тему из кельтской литературы или древностей. В ответ на это лестное предложение мистера Оуэна я написал ему письмо, которое в то время появилось в нескольких газетах и из которого сохранилась следующая выдержка, имеющая важное значение

Мои познания в валлийских вопросах столь ничтожны, что с моей стороны было бы дерзостью при любых обстоятельствах говорить об этих вопросах с собранием людей, многие из которых посвятили свою жизнь их изучению.

С каждым годом ваше собрание приобретает все больший интерес. Позвольте мне осмелиться сказать, что вы должны избегать двух опасностей, чтобы добиться всего того хорошего, чего желают ваши друзья. Вы должны избежать опасности обидеть практичных людей, затормозив распространение английского языка в княжестве. Я считаю, что сохранение и почитание валлийского языка и литературы вполне совместимо с тем, чтобы ни на час не препятствовать и не задерживать введение, столь неоспоримо полезное, знания английского языка среди всех классов в Уэльсе. Необходимо также избегать опасности отчуждения людей науки из-за слепого пристрастного и некритичного отношения к национальным древностям. Превосходная книга мистера Стивенса *"Литература Кимрии"* показывает, как прекрасно валлийцы могут избежать этой опасности, если захотят.

Когда я вижу, какой энтузиазм эти Eisteddfods способны пробудить во всем вашем народе, а затем думаю о вкусах, литературе, развлечениях нашего низшего и среднего класса, я преисполняюсь восхищения вами. История позволяет нам утешиться мыслью о том, что народы, лишённые политического успеха, все же могут оставить свой след в мировом прогрессе и внести весомый вклад в цивилизацию человечества. Мы в Англии подошли к тому моменту, когда дальнейшее продвижение и величие нашей нации находится под угрозой по одной причине, и прежде всего по одной. Гораздо больше, чем беспомощность аристократии, чей день быстро подходит к концу, гораздо больше, чем сырость низшего класса, чей день только начинается, нам угрожает то, что я называю "филистерством" нашего среднего класса. На стороне красоты и вкуса - вульгарность, на стороне морали и чувств - грубость, на стороне ума и духа - неинтеллигентность, - вот что такое филистерство. Итак, настал момент, когда большая деликатность и духовность кельтских народов, смешавшихся с нами, если только она будет мудро направлена, должна стать ценной и почитаемой. В какой-то мере у детей Талиесина и Оссиана появилась возможность повторить знаменитый подвиг греков и победить их завоевателей. Никакая услуга, которую Англия может оказать кельтам, предоставив вам долю в ее многочисленных добрых качествах, не может превзойти ту, которую кельты могут оказать Англии в данный момент, передав нам некоторые из своих".

Конечно, в этом письме, написанном валлийцу и по случаю валлийского праздника, я скорее подчеркивал достоинства кельтского духа и его произведений, чем их недостатки. Поступить иначе было бы оскорбительно и бесчеловечно. Когда знакомый просит вас написать эпитафию его отцу, вы, как правило, не пользуетесь этой возможностью, чтобы сказать, что его отец был слеп на один глаз и имел прискорбную привычку не платить по счетам своих торговцев. Но слабая сторона кельтов и их прославителей, опасность, от которой они должны защищаться, ясно указана в этом письме; и в замечаниях,

перепечатанных в этом томе, - замечаниях, которые были первоначальной причиной письма мистера Оуэна ко мне и, должно быть, полностью присутствовали в его сознании, когда он читал мое письмо, - недостатки как кельтской расы, так и кельтов, изучающих ее литературу и древности, безоговорочно отмечены и, насколько это необходимо, порицаемы. [0b] На самом деле, я не ставил себе целью сделать обвинение главной частью того, что я сказал; ведь кельты, как и другие люди, должны быть улучшены скорее путем развития их даров, чем путем наказания их недостатков. Мудрый человек, как замечательно говорит Спиноза, "*de humana impotentia non nisi parce loqui curabit, at largiter de humana virtute seupotentia*". Но пока осуждение кельтских неудач было необходимо для того, чтобы подготовить почву для роста кельтской добродетели, я использовал осуждение.

Однако "*Таймс*" предпочитает более короткий и резкий метод работы с кельтами, и в паре передовых статей, взяв за основу Честерский фестиваль и мое письмо мистеру Хью Оуэну, она с большой откровенностью и в своем обычном убедительном стиле изложила свои собственные взгляды на улучшение положения Уэльса и его народа. *Перестаньте делать зло, научитесь делать добро* - таков был итог его увещаний валлийцам; под злом "*Таймс*" понимал все кельтское, а под добром - все английское. Уэльский язык - это проклятие Уэльса. Его распространенность и невежество англичан исключали и даже сейчас исключают валлийцев из цивилизации их английских соседей". Eisteddfod - это один из самых озорных и эгоистичных кусков сентиментализма, который только можно придумать. Это просто глупое вмешательство в естественный прогресс цивилизации и процветания. Если желательно, чтобы валлийцы говорили английским, то поощрять их в любви к своему старому языку - чудовищная глупость. Не только энергия и сила, но и интеллект и музыка Европы пришли в основном из тевтонских источников, и такое прославление всего кельтского, если бы это не было педантизмом, было бы просто невежеством. Чем скорее все валлийские особенности исчезнут с лица земли, тем лучше".

И мне не нужно говорить, что я сам, как это часто случается со мной от рук моих соотечественников, был жестоко осужден "*Таймс*" и подвергся самому суровому обращению. То, что я сказал мистеру Оуэну о том, что распространение английского языка в Уэльсе вполне совместимо с сохранением и почитанием валлийского языка и литературы, было в резкой форме названо "сущей чепухой", а я был охарактеризован как "сентименталист, который говорит глупости о детях Талиесина и Оссиана, и чей изысканный вкус требует чего-то более хлипкого, чем сильный смысл и крепкая мораль его собратьев-англичан".

Как я уже говорил, я, к несчастью, привык к тому, что мои соотечественники-англичане так сурово интерпретируют то, что я пишу, и больше не кричу по этому поводу. К тому же я изучил коринфский стиль или стиль передовой статьи, знаю его требования, и с ними можно спорить не больше, чем с законом всемирного тяготения. Так что, со своей стороны, когда я читал эти язвительные статьи в "*Таймс*", мой ум не очень-то задумывался о том, что я сам к ним причастен; но вот что я сказал себе, отложив газету, а именно: "*Вот трудности Англии в управлении Ирландией!*"

Я не берусь утверждать, что сельскохозяйственный крестьянин, которого мы в Англии, без Эйстедфодов, успешно развиваем, гораздо более совершенный продукт цивилизации, чем валлийский крестьянин, отстающий в развитии благодаря этим "кусочкам сентиментализма". Мне остается предположить, что наше "сильное чувство и крепкая мораль" достойны восхищения и настолько универсальны, насколько это угодно "*Таймс*". Но даже если предположить это, я спрошу, слышал ли кто-нибудь когда-нибудь, чтобы сильное чувство и крепкая мораль были засунуты в глотку другим людям таким образом? Разве эти

божественные английские дары и английский язык, на котором они проповедуются, не имели бы больше шансов пробиться среди бедных кельтских язычников, если бы английский апостол подавал свое послание немного приятнее? Нет ничего лучше любви и восхищения, чтобы привести людей к сродству с тем, что они любят и чем восхищаются; но англичанину, похоже, и в голову не придет использовать эти влияния на расу, которую он хочет слить с собой. В своей работе по слиянию он использует лишь материальные интересы, а кроме них - ничего, кроме презрения и упреков. Соответственно, между ним и расами, которые он присоединил, нет жизненно важного союза; и если Франция может похвастаться своим "великолепным единством", единством духа не меньше, чем имени между всеми людьми, которые ее составляют, то в Англии собственно англичанин ни с кем не объединен духом, кроме других собственно англичан, таких же, как он сам. Его валлийские и ирландские сограждане сейчас едва ли более слиты с ним, чем в те времена, когда Уэльс и Ирландия были впервые завоеваны, и подлинного единства даже этих маленьких островов еще предстоит достичь. Когда эти мои статьи о кельтском гении и литературе впервые появились в "*Корнхилл Мэгэзин*", они, что вполне естественно, принесли мне множество сообщений от валлийцев и ирландцев, интересующихся этой темой; и нельзя было не поразиться, читая эти сообщения, увидев, насколько глубокое чувство неприятия и отрыва от англичан они в целом проявляют. Кого это может удивить, если обратить внимание на то, в каком тоне "*Таймс*" пишет только что процитированные статьи, и вспомнить, что это характерная черта англичанина, когда он комментирует то, что не является им самим? И потом, с нашей безграничной верой в механизмы, мы, англичане, ожидаем, что валлиец, как само собой разумеющееся, привяжется к нам, потому что мы приглашаем его вести с нами дела, позволяем ему проводить сколько угодно публичных собраний и издавать сколько угодно газет! Когда же мы поймем, что людей к нам привязывает дух, которым мы обладаем, а не механизмы, которые мы используем?

В прошлом году существовал проект проведения бретонского эйстедфода в Квимпере в Бретани, и министр внутренних дел Франции, то ли желая защитить великолепное единство Франции от вторжения бретонизма, то ли опасаясь, что этот проект будет использован в интересах легитимистских интриг, то ли по каким-то другим мотивам, издал приказ, запрещающий проведение собрания. Если бы мистер Уолпол издал приказ, запрещающий Честерский фестиваль, все англичане от Корнуолла до Джон-оф-Гроатс-Хауса бросились бы на помощь; и наши сильные чувства и стойкая мораль не переставали бы скрежетать зубами и рвать на себе одежду, пока запрет не был бы отменен. Как жаль, что наше сильное чувство и крепкая мораль не понимают, что слова, подобные словам "*Таймс*", вызывают гораздо более острое чувство отчуждения и неприязни, чем действия, подобные действиям французского министра! Поступки, подобные поступкам французского министра, объясняются государственными причинами, и вину за них возлагают на правительство, а не на французский народ. Статьи, подобные тем, что публикует "*Таймс*", объясняются недостатком сочувствия и мягкости нравов в английской натуре, и весь английский народ получает вину за них. И заслуженно; ведь на каком-то таком основании отсутствия сочувствия и доброты в английской натуре появляются статьи, подобные тем, что публикует "*Таймс*", и к какому-то такому основанию они апеллируют. С другой стороны, сочувственные и социальные добродетели французской природы фактически заделывают бреши, образовавшиеся в результате деспотичных действий правительства, и создают среди населения, объединенного с Францией, как валлийцы и ирландцы объединены с Англией, чувство симпатии и привязанности к французскому народу. Французское правительство может препятствовать распространению немецкого языка в Эльзасе и запрещать эйстедфоды в Бретани; но *Journal des Débats* никогда не рассматривает немецкую музыку и поэзию как вредную древесину и не говорит бретонцам, что чем скорее все бретонские

особенности исчезнут с лица земли, тем лучше. Соответственно, бретонцы и эльзасцы стали ощущать себя частью Франции и гордиться тем, что носят французское имя; в то время как валлийцы и ирландцы упорно отказываются слиться с нами и не будут восхищаться англичанином так, как он восхищается собой, сколько бы *Times* ни ругал их, ни оценивал, ни уверял, что на свете нет никого столь восхитительного.

И в какой момент она уверяет их в этом, боже мой! В тот момент, когда лед в Англии разрушается, и мы все начинаем наконец видеть, сколько реальной путаницы и недостаточности он покрывает; когда, каковы бы ни были достоинства, - а они велики, - англичанина, его сильного чувства и твердой морали, становится все более и более очевидным, что, если он хочет выстоять и продвинуться, он должен преобразовать себя, должен добавить что-то к своему сильному чувству и твердой морали, или, по крайней мере, должен дать этим его прекрасным дарам новое развитие. Мой друг мистер Голдвин Смит в своей красноречивой манере говорит, что Англия - любимица Небес. Далека я от мысли утверждать, что Англия не является любимицей небес; но в данный момент она больше напоминает мне то, что пророк Исайя называет "быком в сети". Она так долго довольствовалась во всех сферах хлопотами и рутиной, а теперь так поражена, обнаружив, что они больше не служат ей! И это в тот момент, когда англицизм, чистый и простой, который при всех своих прекрасных качествах всегда умудрялся сделать себя необычайно непривлекательным, теряет ту невозмутимую веру в свою непеределанную сущность, которая, во всяком случае, делала его внушительным, - в этот момент наш великий орган говорит кельтам, что все их не английское - это "просто глупое вмешательство в естественный прогресс цивилизации и процветания;" и бедному Талхайарну, осмелившемуся возразить, приказывают "отказаться от своего необычного титула и даже не говорить по-уэльски в Уэльсе!"

Но оставим мертвых хоронить своих мертвецов, а живым позволим идти к совершенству. Пусть кельтские члены этой империи задумаются о том, что им тоже предстоит преобразовать себя; и хотя призыв к преобразованию часто передается жестко и жестоко, с криком выкорчевать как пшеницу, так и плевелы, это не причина, чтобы не следовать призыву в отношении плевел. Пусть они подумают о том, что они неразрывно связаны с нами, и что, если предложения, изложенные на следующих страницах, имеют хоть какую-то правду, мы, англичане, как бы чужды и неприветливы мы ни были к нашим кельтским партнерам, несмотря на это, имеем, возможно, больше, чем любая другая нация, тысячи скрытых источников возможной симпатии к ним. Пусть они подумают о том, что в Англии бушуют новые идеи и силы, что с каждым днем эти новые идеи и силы набирают силу и что почти каждая из них - друг кельта, а не его враг. И, независимо от того, будут ли наши кельтские партнеры считать это или нет, во всяком случае, давайте сами, все мы, кто гордится тем, что являемся служителями этих новых идей, будем неустанно работать над тем, чтобы обеспечить им более широкое и плодотворное применение; и устранить главную причину отчуждения кельта от англичанина, заменив вместо того типа англичанина, с которым кельт слишком долго был знаком, новым типом, более разумным, более милосердным и более гуманным.

ИЗУЧЕНИЕ КЕЛЬТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

"Они шли на войну, но всегда падали".

Оссиан.

Некоторое время назад я провел несколько недель в Лландудно, на валлийском побережье. Лучшие ночлежные дома в Лландудно смотрят на восток, в сторону Ливерпуля; из этого

саксонского улья непрерывно вылетают стаи, пересекают залив и овладевают пляжем и ночлежными домами. Восточная бухта, охраняемая Большой и Малой Ормиными головами и оживленная саксонскими захватчиками из Ливерпуля, представляет собой привлекательную точку интереса, и многие посетители Лландудно никогда не задумываются ни о чем другом. Но, если отбросить очарование ливерпульских пароходов, возможно, вид с этой стороны через некоторое время немного не удовлетворяет человека; горизонту не хватает загадочности, морю - красоты, побережью - зелени, а есть слишком голая строгость и сухость. Наконец, вы оборачиваетесь и смотрите на запад. Все изменилось. Над устьем Конвея и его песками - вечная мягкость и мягкий свет запада; низкая линия таинственного Англси, и обрывистый Пенмаенмоур, и великая группа Карнедд Ллевелин, Карнедд Дэвид и их собратья, исчезающие холм за холмом в воздушной дымке, создают горизонт; между подножием Пенмаенмоура и изгибающимся берегом Англси - море, серебряный поток, исчезающий неизвестно куда. По эту сторону - Уэльс, Уэльс, где прошлое еще живет, где каждое место имеет свою традицию, каждое имя - свою поэзию, и где народ, настоящий народ, еще знает это прошлое, эту традицию, эту поэзию, и живет с ней, и цепляется за нее; тогда как, увы, преуспевающий сакс по ту сторону, захватчик из Ливерпуля и Биркенхеда, давно забыл свое. И мыс, на котором стоит Лландудно, - самый центр этой традиции; это Круддин, *кровавый город*, где каждый камень имеет свою историю; там, напротив его разрушающегося соперника, замка Конвей, находится Диганви, не разрушающийся, а давно уже полностью обветшавший, несколько осыпающихся фундаментов на вершине скалы и ничего больше; Диганви, где Маэл-Гвин заточил Эльфина и куда пришел Талиесин, чтобы освободить его. Ниже, в складке холма, находится Ллан-Рхос, болотная церковь, где тот самый Маэл-Гвин, британский принц из реальной истории, смелый и развратный вождь, оригинал, как говорят, артуровского Ланселота, заперся в церкви, чтобы избежать Желтой Чумы, и выглянул через отверстие в двери, увидел чудовище и умер. Позади, среди леса, находится Глоддаэт, *место пиров*, где развлекались барды; а еще дальше, вверх по долине Конвея в сторону Лланрвста, - озеро Сейрио-нидд и могила Талиесина. Или, если посмотреть на море и Англси, перед вами Пен-Мон, остров и приорство Сейриола, где похоронен Маэл-Гвин; *Пески Плача* и Ллис Хелиг, *особняк Хейлига*, особняк под волнами, похороненный в море дворец и царство. *Hac ibat Simois; hic est Sigeia tellus.*

Когда я шел вверх и вниз, глядя на волны, омывающие эту сигейскую землю, на которой никогда не было своего Гомера, и с любопытством вслушиваясь в странную, незнакомую речь безвестных потомков ее старых хозяев - купальщиков, продавцов овощей и ослов, которые были вокруг меня, - вдруг сквозь поток незнакомого валлийского я услышал слова, не английские, конечно, но все же знакомые. Их произнесла французская нянечка с несколькими детьми. Глубоко не понимая своего родства, эта галльская кельтша двигалась среди своих британских кузенов, говоря на своем вежливом неолатинском языке и преисполненная, вероятно, сочувственного презрения к валлийским варварам и их жаргону. Что за революция произошла здесь! Как разгоралась звезда этой дочери Гомера, в то время как звезда этих кимров, его сыновей, угасала! Какая разница в судьбе между ними с тех пор, как они, говоря на одном языке, покинули свое общее место обитания в сердце Азии; с тех пор, как киммерийцы Эвксинского моря обрушились на своих западных сородичей, сыновей великана Галата; с тех пор, как сестры, Галлия и Британия, срезали омелу в своих лесах и увидели приход Сезара! *Blanc, rouge, rocher champ, église, seigneur*, - эти слова, которыми галло-римский кельт называет теперь и белое, и красное, и камень, и поле, и церковь, и господина, не являются частью речи его истинных предков, это слова, которые он выучил; Но с тех пор, как он их выучил, они имеют всемирный успех, и все мы учим им своих детей, и армии, говорящие на них, господствуют в каждом городе той Германии, которой был сломлен британский кельт, и за этими армиями охотно следуют саксонские

вспомогательные войска, униженный контингент; Бедный валлиец все еще говорит на подлинном языке своих предков:[4] *gwyn, goch, craig, maes, llan, arglwydd*; но его земля - провинция, его история ничтожна, а его саксонские покорители презирают его речь как препятствие на пути к цивилизации; И эхо всех его сородичей в других землях становится с каждым днем все слабее и слабее; исчезло в Корнуолле, исчезло в Бретани и Шотландском нагорье, исчезло и в Ирландии; и там, прежде всего, это значок побежденной расы, собственность побежденных.

Но кельтский гений как раз в это время готовился в Лландудно к своему часу возрождения. Рабочие были заняты возведением большого деревянного здания, похожего на шатер, которое привлекало внимание каждого приезжего и которое, по мнению моих маленьких мальчиков (их желание, несомненно, было отцом их убеждения), было цирком. Однако оказалось, что это не цирк Кастора и Поллукса, а храм Аполлона и муз. Здесь должен был состояться Эйстедфод, или бардовский съезд Уэльса, цель которого (цитирую слова его организаторов) - "распространение полезных знаний, раскрытие талантов местных жителей, воспитание любви к родине и почетной славы через развитие поэзии, музыки и искусства". Мои маленькие мальчики были разочарованы; но я, чьи цирковые дни прошли, я, профессионально интересующийся поэзией, а также ненавидящий всякую однобокость и угнетение, не желающий ничего лучшего, чем чтобы кельтский гений мог показать себя миру и заставить его услышать свой голос, был в восторге. Я взял билет и стал с нетерпением ждать дня открытия. День наступил, но неудачный: штормовой ветер, тучи пыли, сердитое, грязное море. Саксонцы, прибывшие на ливерпульских пароходах, выглядели несчастными; даже валлийцы, прибывшие по суше, - то ли они были подавлены дурным утром, то ли чудовищным и непосильным налогом, которым компания "Лондон и Северо-Западная железная дорога" облагает всех, кого перевозит через эти четыре мили болотистого полуострова между Конвеем и Лландудно, - не выглядели счастливыми. Сначала мы отправились на Горседд, или предварительный съезд для присвоения степени барда. Горседд проходил под открытым небом, на ветреном углу улицы, а утро не располагало к торжественным мероприятиям под открытым небом. Уэльсцы, как мне кажется, также разделяют со своими саксонскими захватчиками неспособность к шоу и зрелищам. С шоу и зрелищами лучше справляется латинская раса и те, кого она вылепила; валлийцы, как и мы, немного неловки и не обладают достаточными ресурсами для организации праздника. Председательствующий гений мистического круга в нашем отвратительном костюме девятнадцатого века, от которого его спас только зеленый шарф, ветер заглушал его голос, а пыль пудрила его усы, выглядел просто жалко; так же выглядели и претенденты на бардовские почести; и я думаю, что примерно через час мы все, стоя в дрожи вокруг священных камней, начали наполовину желать, чтобы жертвенный нож друида прекратил наши страдания. Но нож друида пропал из его рук, и мы укрылись в здании Эйстедфода.

Зрелище внутри не было оживленным. Президент и его сторонники собрались на помосте. На полу одна или две передние скамьи были довольно хорошо заполнены, но их обитателями были по большей части саксонцы, которые пришли туда из любопытства, а не из энтузиазма; а все средние и задние скамьи, где должны были сидеть истинные энтузиасты - валлийцы, - были почти пусты. Президент, я уверен, проявил национальный дух, достойный восхищения. Он обратился к нам, саксам, на нашем родном языке и назвал нас "английской ветвью потомков древних бриттов". Мы приняли комплимент с бесстрастной тупостью, свойственной нашей натуре; а живая кельтская натура, которая должна была бы компенсировать нашу тупость, отсутствовала. Сидевшая рядом со мной дама, которая, как я выяснил, была женой одного из выдающихся бардов на платформе, сказала мне с чувством во взгляде и голосе, как дороги сердцу ее народа эти торжественные мероприятия, какой

глубокий интерес они вызывают. Я верю ей, но все же все представление в то утро было неизлечимо безжизненным. Началась декламация призовых сочинений: стихов и прозы на валлийском языке, среди которых, если я правильно помню, было эссе о пунктуальности; еще одно - поэма о походе Хавелока. Так продолжалось некоторое время. Затем доктор Воган, известный неконформистский священник, валлиец и хороший патриот, обратился к нам на английском языке. Его речь была мощной, и, признаюсь, ему удалось вызвать слабый трепет на наших передних скамьях; но это был старый знакомый трепет, который мы все тысячу раз испытывали в саксонских часовнях и залах собраний, и в нем не было ничего бардовского. Я вышел из дома и на улице столкнулся со знакомым, только что приехавшим из Лондона и с парламентской сессии. В одно мгновение чары кельтского гения были забыты, филистерство нашей саксонской природы дало о себе знать; и мы с моим другом зашагали вверх и вниз по ревущим волнам, разговаривая не об орациях и бардах, триадах и энглинах, а о канализационном вопросе, о славе нашего местного самоуправления и таинственных совершенствах столичного управления работ.

Полагаю, даже поклонники эйстедфодов в целом признают, что этот конкретный эйстедфод не был успешным. Говорят, что Лландудно был неподходящим местом для его проведения. Если же его проводить в замке Конвей, как это было несколько лет назад, и зрители - восторженная толпа - заполнят величественные старые руины, то я могу представить себе это впечатляющее и интересное зрелище, даже для незнакомца, которому пришлось столкнуться с ужасным недостатком - незнанием валлийского языка. Но даже в том виде, в каком я увидел его в Лландудно, оно способно заставить задуматься. Эйстедфод - это, несомненно, своего рода олимпийская встреча; и то, что простой народ Уэльса должен заботиться о подобном, показывает, что в нем есть что-то греческое, что-то духовное, что-то гуманное, что-то (боюсь, следует добавить), чего не найти в английском простонародье". Этой линии размышлений придерживался опытный епископ Сент-Дэвидс и "*Saturday Review*", она справедлива, она плодотворна, и те, кто ее придерживался, заслуживают нашей наилучшей благодарности. Но, в силу особых обстоятельств, собрание в Лландудно, как я уже говорил, было таким, что совсем не наводило на мысли об Олимпии, о толпе, тронутой божественным пламенем и повисшей на устах Пиндара. Скорее, это был триумф прозаичного, практичного саксонца и приближающегося угасание энтузиазма, который он высмеивает как надуманный, литературы, которую он презирает как мусор, языка, который он отвергает как помеху.

Должен сказать, что я вполне разделяю мнение моих братьев-саксов относительно практического неудобства увековечивания валлийского языка. Возможно, воображение на мгновение расстраивается, когда слышишь, что последний корнуоллский крестьянин, говоривший на старом языке Корнуолла, умер; но, несомненно, Корнуолл выиграет от того, что перейдет на английский, что станет более единым целым с остальной страной. Слияние всех жителей этих островов в единое однородное англоязычное целое, разрушение барьеров между нами, поглощение отдельных провинциальных национальностей - это завершение, к которому неудержимо стремится естественный ход вещей; это необходимость того, что называется современной цивилизацией, а современная цивилизация - реальная, законная сила; перемены должны произойти, и их свершение - дело времени. Чем скорее валлийский язык исчезнет как инструмент практической, политической и социальной жизни Уэльса, тем лучше; тем лучше для Англии, тем лучше для самого Уэльса. Торговцы и туристы оказывают отличную услугу, вбивая английский клин все дальше и дальше в сердце княжества; министры образования - вбивая его все сильнее и сильнее в начальные школы. Не может, пожалуй, вызывать симпатию и литературное культивирование валлийского языка

как инструмента живой литературы; в этом отношении Eisteddfods поощряют, как мне кажется, фантастическое и вредоносное заблуждение.

Для всех серьезных целей в современной литературе (а пустяковые цели кто бы стал поощрять?) языком валлийца является и должен быть английский; если автор Eisteddfod хочет сказать что-нибудь о пунктуальности или о походе Хавелока, ему лучше сказать это по-английски; или, скорее, то, что он хочет сказать на эти темы, может быть с тем же успехом сказано на валлийском, но как только он хочет сказать что-нибудь действительно важное, что мир захочет услышать, он должен говорить на английском. Дилетантизм может принести много вреда, ввести в заблуждение, растратить и свести на нет подлинный талант. Для всех современных целей, повторяю, пусть мы все как можно скорее станем одним народом; пусть валлиец говорит по-английски, и, если он автор, пусть пишет по-английски.

Пока что я плыву по течению моих братьев-саксов; но здесь, как мне кажется, я с ними расстанусь. Они не хотят иметь ничего общего с валлийским языком и литературой ни на каких условиях; они с радостью вычистят их с лица земли. Я же, при определенных условиях, хочу сделать гораздо больше, чем делается сейчас; и я рассматриваю валлийскую литературу, - или, скорее, отбросив различие между валлийской и ирландской, гэльской и кимрской, позвольте мне сказать, кельтскую литературу, - как объект очень большого интереса. Мои братья саксы, как известно, имеют ужасную манеру желать смести с лица земли все, кроме себя; у меня нет такой страсти - находить везде только себя; я люблю, чтобы существовало и проявлялось разнообразие, и я ни за что на свете не хотел бы, чтобы были утрачены черты кельтского гения. Но я знаю своих братьев саксов, я знаю их силу, и я знаю, что кельтский гений ничего не сделает, если попытается воздвигнуть против них барьеры в мире фактов и грубой силы, если попытается удержаться против них в качестве политической и социальной контрдержавы, в качестве души враждебной национальности. Для меня есть что-то скорбное (и в данный момент, когда видишь, что происходит в Ирландии, как хорошо, что я могу это сказать!) в том, чтобы слышать, как валлиец или ирландец претендует - естественные претензии, я признаю, но как безнадежно тщетны! - на такое соперничающее самоутверждение; есть что-то скорбное в том, чтобы слышать, как англичанин их разведывает. Сила! Увы, нам, саксам, не хватает не силы, а силы в материальном мире; у нас достаточно сил, чтобы поглотить и вобрать в себя столько, сколько мы пожелаем; ничто не мешает нам уничтожить последние жалкие материальные остатки той кельтской силы, которая когда-то была повсюду, но уже давно, в гонке цивилизации, исчезла из виду. Мы можем пригрозить им исчезновением, если захотим, и можем почти сказать, угрожая им, как Цезарь, угрожая смертью трибуну Метеллу, который закрыл перед ним двери сокровищницы: "И когда я угрожаю этим, молодой человек, угрожать мне труднее, чем делать это". Не во внешнем и видимом мире материальной жизни кельтский гений Уэльса или Ирландии может в наши дни рассчитывать на многое; он находится во внутреннем мире мысли и науки. То, чем он был и *что* он сделал, пусть попросит нас обратить внимание на это, как на вопрос науки и истории; а не на то, чем он будет или что он сделает, как на вопрос современной политики. Сейчас она не может рассчитывать на значительную материальную силу; но, возможно, если она сможет досконально узнать себя как объект науки, она сможет рассчитывать на многое, - гораздо большее, чем мы, саксонцы, большинство из нас, себе представляем, - как духовная сила.

Наше время склоняется к науке, к познанию вещей такими, какие они есть; поэтому претензии кельта на то, чтобы его гений и его произведения справедливо рассматривались как объект научного исследования, саксонец вряд ли может отвергнуть, если эти претензии выдвигаются просто по их собственным достоинствам, а не смешиваются с посторонними

притязаниями, которые ставят их под угрозу. То, что французы называют *science des origines*, наукой о происхождении, - наука, которая лежит в основе всех реальных знаний о реальном мире и которая с каждым днем приобретает все больший интерес и значение, - будет очень неполной без тщательного критического отчета о кельтах, их гении, языке и литературе. Этой науке еще предстоит сделать большой шаг вперед, но ее успехи, достигнутые даже в воспоминаниях тех из нас, кто находится в среднем возрасте, уже повлияли на наши обычные представления о кельтской расе; и это изменение также показывает, как наука, познающая вещи такими, какие они есть, может иметь даже полезные практические последствия. Помню, в юности меня учили думать о кельтах как о людях, отделенных непроходимой пропастью от тевтонов;^[14] мой отец, в частности, не устал их противопоставлять; он гораздо чаще настаивал на разделении между нами и ними, чем на разделении между нами и любой другой расой в мире; точно так же лорд Линдхерст в давно известных словах назвал ирландцев "пришельцами в речи, в религии, в крови". Это, естественно, вызывало глубокое чувство отчужденности; оно удваивало ту отчужденность, которую политические и религиозные различия уже создавали между нами и ирландцами: казалось, что эта отчужденность становилась огромной, неизлечимой, фатальной. Оно породило странное нежелание, в чем может убедиться любой, прочитав предисловие к большому учебнику валлийской поэзии, "*Мивурианской археологии*", изданному в начале этого века, продолжать, - более того, разрешить, - даже среди таких тихих, мирных людей, как валлийцы, публикацию документов их древней литературы, памятников кимрского гения; Таково было чувство отталкивания, чувство несовместимости, радикального антагонизма, что нам казалось опасным позволить таким противоположностям себя иметь речь и высказываться. Конечно, еврей - по крайней мере, еврей древности - тогда казался нам на тысячу градусов ближе, чем кельт. Пуританство настолько усвоило библейские идеи и фразеологию; имена вроде Эбенезера и понятия вроде разрубления Агага на куски стали для нас настолько естественными, что чувство родства между тевтонской и древнееврейской природой было весьма сильным; устойчивый англосакс из среднего класса гораздо чаще представлял себя кузеном Эхуда, чем Оссиана. А тем временем беременные и поразительные идеи этнологов об истинной естественной группировке человеческого рода, учение о великом индоевропейском единстве, включающем индусов, персов, греков, латинян, кельтов, тевтонов, славян, с одной стороны, и, с другой стороны, семитское единство и монгольское единство, отделенные глубокими отличительными признаками от индоевропейского единства и друг от друга, постепенно приобретали последовательность и становились популярными. Чувство симпатии или антипатии, основанное на реальной идентичности или различии рас, становилось настолько сильным и реальным у культурных людей, что мы читаем о подлинном тевтоне Вильгельме фон Гумбольдте, который даже в сфере религии, где сила семитизма была столь непреодолимой, находил пищу, наиболее соответствующую его духу, в произведениях не чуждого семитского гения, а гения Греции или Индии, тевтонов, родившихся родственниками в общей индоевропейской семье. "К семитизму он чувствовал себя, - читаем мы, - гораздо менее тяготеющим; в глубине своей натуры он сознавал некоторую антипатию к нему и к его "поглощающей, тиранической, террористической религии", так как для более открытого, более гибкого индоевропейского гения эта религия оказалась. "Это просто работа старого человека в нем!" - с готовностью ответит семитизм. с готовностью ответит семитизм; и хотя вряд ли можно признать этот короткий и легкий способ решения вопроса, следует признать, что случай Гумбольдта - это крайний случай индоевропеизма, полезный для того, чтобы показать нам, какова может быть сила расы и примитивной конституции, но вряд ли в духовной сфере найдется много случаев, равных ему. Тем не менее, даже в этой сфере тенденция идет в направлении Гумбольдта; современный дух все больше и больше стремится утвердить чувство исконного

разнообразия между нашим европейским началом и семитским и устранить, даже в нашей религии, некоторые элементы как чисто и чрезмерно семитские, а потому, по праву, не сочетаемые с нашей европейской природой, не ассимилируемые ею. Эта тенденция теперь вполне заметна даже среди нас самих, и даже, как я уже говорил, в великой сфере семитского гения, в сфере религии; и для своего оправдания эта тенденция апеллирует к науке, науке о происхождении; она апеллирует к этой науке как к науке, которая учит нас, в каком направлении лежат наши естественные сродства и отталкивания. Она апеллирует к этой науке и отчасти исходит из нее; в значительной степени она является ее косвенным практическим результатом.

В сфере политики также появился косвенный практический результат этой науки; чувство антипатии к ирландскому народу, радикальной отчужденности от него, заметно ослабло среди всех нас; раскаяние за прошлое плохое обращение с ним, желание загладить свою вину, поступить с ним по справедливости, справедливо объединиться, если возможно, в один народ с ним, заметно возросло; едва ли теперь выходит книга об Ирландии, едва ли дебаты об Ирландии проходят в парламенте без того, чтобы это не проявилось. Какой бы причудливой ни казалась эта мысль на первый взгляд, я склонен думать, что шествие науки, - науки, настаивающей на том, что между кельтами и саксами нет такой изначальной пропасти, как мы когда-то популярно представляли, что они не являются, как их назвал лорд Линдхерст, *пришельцами по крови* от нас, что они - наши братья в великой индоевропейской семье, - внесло свою долю, заметную долю, в создание этого изменившегося состояния чувств. Несомненно, освобождение от тревог и борьбы, ощущение прочного владения, надежной безопасности и подавляющей силы - все это, позволяя и поощряя зарождение в нас гуманных чувств, сделало многое; несомненно, состояние страха и опасности, Ирландия во враждебном конфликте с нами, наш союз, насильственно нарушенный, мог, подавляя все гуманные чувства, заставить возродиться и старое чувство полной отчужденности. Тем не менее, пока такой злобный поворот событий не произошел, новое чувство родства и доброты живет, работает и набирает силу; и чем дольше оно живет и работает, тем больше делает маловероятным любой такой злобный поворот. И это новое, примиряющее чувство имеет, как я говорю, свои корни в науке.

Однако на этих косвенных преимуществах науки мы не должны делать слишком большой акцент. Следует признать лишь одно: очевидно, что в настоящее время действуют два влияния, оба благоприятствующие более внимательному и беспристрастному изучению кельтов, чем то, которое они когда-либо получали от нас. Одно из них - укрепление в нас чувства индоевропеизма; другое - укрепление в нас научного чувства в целом. Первое разрушает барьеры между нами и кельтом, ослабляет отчуждение между нами; второе порождает желание досконально знать его дело и быть справедливым по отношению к нему. Это совсем другое дело, чем политическая и социальная кельтизация, о которой мечтают некоторые энтузиасты; но ее не должен презирать ни один человек, которому дорог кельтский гений; и она возможна, в то время как другая - нет.

I.

Чтобы досконально разобраться в кельтском деле, нужно знать кельтский народ, а чтобы знать его, нужно знать то, с помощью чего народ лучше всего выражает себя, - его литературу. Мало кто из нас имеет представление о том, какая масса кельтской литературы на самом деле еще сохранилась и доступна. Постоянно можно встретить даже очень опытных людей, которые считают, что остатки валлийской и ирландской литературы столь же незначительны по своему объему, как, по их мнению, и по своим внутренним достоинствам; что эти остатки состоят из нескольких прозаических рассказов, в

значительной степени заимствованных из литературы более цивилизованных народов, чем валлийский или ирландский, и нескольких непонятных стихотворений. Что касается валлийской литературы, то они слышали, возможно, о *Черной книге Каермартена* или *Красной книге Хергеста* и воображают, что одна или две знаменитые рукописные книги, подобные этим, содержат всю суть. Они и понятия не имеют, что на самом деле, цитируя слова одного из тех, кто не является другом высоких притязаний валлийской литературы, но их самым грозным противником, мистера Нэша: "Одни только мивирские рукописи, хранящиеся сейчас в Британском музее, составляют 47 томов поэзии различных размеров, содержащих около 4700 стихотворных произведений на 16 000 страницах, кроме того, около 2000 энглинических или эпиграмматических строф. В том же собрании находятся 53 тома прозы объемом около 15 300 страниц, содержащие множество любопытных документов на различные темы. Кроме этих книг, приобретенных у вдовы знаменитого Оуэна Джонса, редактора "*Мивурианской археологии*", существует огромное количество коллекций валлийских рукописей в Лондоне и в библиотеках дворянства княжества". О "*Мивурианской археологии*", о которой говорит мистер Нэш, я уже упоминал; он называет ее редактора, Оуэна Джонса, знаменитым; он не настолько знаменит, чтобы мимоходом сказать о нем слово профессора поэзии. Он был *государственным деятелем* Денбигшира, как говорят на севере, родился до середины прошлого века, в той долине Мивир, которая дала название его археологии. С детства он питал ту страсть к старинным сокровищам литературы своей страны, которая и по сей день, как я уже говорил, в простом народе Уэльса столь замечательна; сокровища эти были ненапечатанными, разрозненными, труднодоступными, ревностно охраняемыми. "Не раз, - говорит Эдвард Лхайд, который в своей *Archæologia Britannica*, изданной им в 1707 году, с радостью подарил бы их миру, - не раз я получал обещание от владельца, и обещание это впоследствии отменялось по наущению некоторых лиц, псевдополитиков, как я думаю, а не литераторов". Так Оуэн Джонс отправился девятнадцатилетним юношей в Лондон и устроился в меховую лавку на Темз-стрит; сорок лет, преследуя одну цель, он работал над своим делом, и в конце этого срока его цель была достигнута. Он поднимался по карьерной лестнице, пока дело не стало его собственным, и теперь он был человеком со значительными средствами; но эти средства он искал только для одной цели, цели всей своей жизни, мечты своей юности, - придать постоянство и известность сокровищам своей национальной литературы. Постепенно он переписывал рукопись за рукописью, и наконец в 1801 году вместе с двумя друзьями выпустил в трех больших томах, напечатанных в два столбца, свою "*Мивурианскую археологию Уэльса*". Книга полна недостатков, она была представлена публике, которая не могла судить о ее важности, и при жизни принесла своему автору больше нападков, чем почестей. Он умер вскоре после этого, и сейчас он похоронен в церкви Олхоллоуз в Лондоне, его могила обращена на восток, в сторону от зеленых долин Клвида и гор его родного Уэльса; Но его книга - великий репертуар литературы его народа, сравнительное изучение языков и литератур с каждым днем набирает все больше последователей, и никто из этих последователей, дома или за границей, не прикасается к валлийской литературе, не воздав должное имени денбигширского крестьянина; если слава барда и его собственная слава все еще имеют для него значение, - *si quid mentem mortalia tangunt*, - он может быть доволен.

Таким образом, даже печатный фонд ранней валлийской литературы значителен, а рукописный фонд ее очень велик. Ирландская литература, печатная и рукописная, поистине огромна; работу по ее каталогизации и описанию прекрасно выполнил другой замечательный человек, умерший буквально на днях, мистер Юджин О'Карри. Неизвестный скалигер презируемой литературы, он заслуживает более весомого голоса для восхваления, чем голос такого неученого беллетриста, как я; он принадлежит к расе гигантов литературных исследований и промышленности, - расе, ныне почти исчезнувшей. Не имея литературного

образования и испытывая, судя по всему, большие трудности с умом и немощью тела, он проделал такую тщательную работу по классификации и описанию хаотической массы ирландской литературы, что студент теперь избавлен от половины своего труда и должен использовать материалы только так, как Юджин О'Карри ему их подает. Именно в качестве профессора Католического университета в Дублине О'Карри прочитал лекции, в которых он оказал студенту эту услугу; трогательно обнаружить, что эти лекции, великолепная дань преданности кельтскому делу, не имели слушателя более внимательного, более сочувствующего, чем человек, сам тоже поборник дела более интересного, чем процветающего, - одного из тех дел, которые радуют благородных духов, но не радуют судьбу, которые имеют приверженность Катона, но не Неба, - д-р Ньюман. Юджин О'Карри в этих своих лекциях, взяв в качестве эталона страницу кварто издания доктора О'Донована, пишет о том, что в "Одиссее", которая была написана в 1948 г., есть много интересного. О'Донован *"Анналов четырех мастеров"* (а этот печатный памятник одной из ветвей ирландской литературы занимает, позвольте заметить мимоходом, семь больших томов формата кварто, содержащих 4 215 страниц тщательно отпечатанного материала), Юджин О'Карри говорит, что большие пергаментные рукописные книги, принадлежащие Тринити-колледжу, Дублина и Ирландской королевской академии, - книги с очаровательными названиями *"Книга коровы Дун"*, *"Книга Лейнстера"*, *"Книга Баллимота"*, *"Крапчатая книга"*, *"Книга Лекайна"*, *"Желтая книга Лекайна"*, - содержат достаточно материала, чтобы заполнить 11 400 таких страниц; Другие пергаментные рукописи в библиотеке Тринити-колледжа в Дублине имеют достаточно материала, чтобы заполнить еще 8 200 страниц; а бумажные рукописи Тринити-колледжа и Ирландской королевской академии вместе взятые, по его словам, заполнили бы еще 30 000 таких страниц. Древние законы Ирландии, так называемые Брехонские законы, которые сейчас публикует комиссия, еще не были полностью переписаны, когда О'Карри писал; но и того, что было переписано, достаточно, говорит он, чтобы заполнить почти 8000 страниц доктора О'Донована. Во всяком случае, материалов здесь хватает с избытком. Эти материалы, разумеется, делятся на несколько частей. Самый литературный из этих отделов, *"Рассказы"*, состоящий из *"Исторических рассказов"* и *"Воображаемых рассказов"*, распределяет содержание *"Исторических рассказов"* следующим образом: - Битвы, путешествия, осады, трагедии, коровьи шпильки, ухаживания, приключения, сухопутные экспедиции, морские экспедиции, банкеты, побеги, любовь, озеро-извержение, колонизация, видения. Какую сокровищницу ресурсов для истории кельтской жизни и кельтского гения открывает этот скудный перечень, даже сам по себе! В *"Анналах четырех мастеров"* приводятся "годы основания и разрушения церквей и замков, некрологи выдающихся личностей, инаугурации королей, битвы вождей, состязания кланов, возраст бардов, аббатов, епископов и т. д.". [25] Через другие разделы этой массы материалов - книги родословных и генеалогий, мартирологи и фестографии, такие как *Фелире Ангуса Кулди*, топографические трактаты, такие как *Диннсенхас*, - мы касаемся "древнейших традиций ирландцев, традиций, которые были записаны в период, когда древние обычаи народа были нерушимы". Мы касаемся "ранней истории Ирландии, гражданской и церковной". Мы узнаем "происхождение и историю бесчисленных памятников Ирландии, разрушенных церквей и башен, скульптурных крестов, святых колодцев и памятных названий почти всех поселений и приходов на всем острове". Короче говоря, мы получаем "самую подробную информацию почти о каждой части древней гэльской жизни, огромное количество ценных деталей быта и нравов". [26]

И, кроме того, к нашим знаниям о кельтском гении мистер Норрис привез из Корнуолла, а М. де ла Виллемарке из Бретани материалы, незначительные по количеству, если сравнивать их с массой сохранившихся ирландских материалов, но далеко не маловажные по ценности.

Мы хотим знать, что вся эта масса документов действительно говорит нам о кельтах. Но способ работы с этими документами, как и со всем вопросом кельтской древности, до сих пор был крайне неудовлетворительным. Те, кто имел с ними дело, в целом приступили к работе либо как горячие любители кельтов, либо как горячие ненавистники кельтов, а не как бескорыстные студенты, изучающие важный вопрос науки. Одна сторона, кажется, отправилась в путь с решимостью найти все в кельте и его остатках; другая - с решимостью не найти в них ничего. Простому искателю истины трудно найти разницу между ними. Иллюстрация поможет понять, что я имею в виду. Для начала возьмем кельтопоклонников, которые, хотя и вызывают больше симпатий, чем кельтоненавистники, все же, поскольку утверждение опаснее отрицания, демонстрируют свои слабости в более явной форме. Один очень ученый человек, преподобный Эдвард Дэвис, опубликовал в начале этого века две важные книги о кельтской древности. Вторая из этих книг, *"Мифология и обряды британских друидов"*, содержит, наряду со многими другими интересными материалами, очаровательную историю Талиесина. Книга Брайанта о мифологии была тогда в моде, и Брайант в фантастической манере, столь распространенной в те дни, нашел в греческой мифологии то, что он назвал ковчеговым идолопоклонством, указывая на Ноев потоп и ковчег. Дэвис, желая придать достоинство своей кельтской мифологии, решает найти идолопоклонство ковчега и там, и стиль, в котором он приступает к этому, представляет собой хороший образец экстравагантности, из-за которой на кельтскую древность смотрят с таким подозрением. История Талиесина начинается так: "В прежние времена жил человек.

В прежние времена в Пенллине жил человек знатного происхождения. Его звали Тегид Воэль, и его отцовское поместье находилось посреди Тегидского озера, а его жену звали Серидвен".

Ничего проще быть не может; но то, что Дэвис находит в этом простом начале истории Талиесина, поражает воображение: - "Давайте вкратце рассмотрим историю Талиесина.

"Давайте вкратце расскажем о владельце этого поместья. Тегид Воэль - лысая *безмятежность* - сразу же *предстает* перед нашим воображением. Художнику не составит труда набросать портрет этой степенной почтенной особы, чья корона частично лишена инеистых почестей. Но из всех богов древности ни один не мог бы с достоинством сесть на эту картину, кроме Сатурна, признанного представителя Ноя и мужа Реи, которая была лишь другим именем Цереры, гения ковчега".

И Церера, гений ковчега, конечно же, находится в Серидвен, "британской Церере, богине ковчега, которая посвящает нас в глубочайшие тайны суеверия ковчега".

Теперь история Талиесина, по мере ее продолжения, показывает Серидвен как колдунью; а колдунья, как и богиня, принадлежит к миру сверхъестественного; но, помимо этого, сама история не предполагает ни малейшей связи между Серидвен и Церерой. Все остальное вытекает из фантазии Дэвиса и подтверждается рассуждениями, по силе напоминающими рассуждения о "лысой безмятежности".

Другой стороне, кельтоненавистникам, нетрудно одержать победу над такими противниками, как эти. Возможно, я должен попросить прощения у мистера Нэша, чей *"Талиесин"* невозможно читать без пользы и поучительности, за то, что причисляю его к кельтоненавистникам; его решительный скептицизм в отношении валлийской древности кажется мне, однако, выдающим предвзятую враждебность, заранее принятое предубеждение, столь же безошибочное, как и предрасположенность мистера Дэвиса. Но мистер Нэш часто очень счастлив в разрушении, ибо действительно любители кельтов, кажется, часто пытаются открыть себя и пригласить к разрушению. Полный своих

представлений о ковчезном идолопоклонстве и гелиодемическом поклонении, Эдвард Дэвис дает такой перевод старой валлийской поэмы, озаглавленной "*Панегирик Ллудда Великого*": - "Песнь мрачная сложена.

"Песня мрачного содержания была сложена знатными Огдоадами, которые собирались в день Луны и шли открытой процессией. В день Марса они обрушили гнев на своих противников; в день Меркурия они наслаждались своей пышностью; в день Иова они были избавлены от презренных узурпаторов; в день Венеры, день великого притока, они плавали в крови людей;[29] в день Солнца там действительно собираются пять кораблей и пятьсот тех, кто обращается с мольбой: О Брити, о Бритои! О сын уплотненного дерева, потрясение одолевает меня; мы все обращаемся к Адонаю, к области Пвмпай".

Несомненно, это выглядит достаточно гелиодемически; особенно когда Дэвис печатает "*O Brithi, O Brithoi!*" еврейскими буквами, как "остатки священных гимнов на финикийском языке". Но тут появляется мистер Нэш и говорит, что поэма - сочинение средних лет, и в ней нет ничего гелиодемического; что она призвана высмеять монахов; и что "*O Brithi, O Brithoi!*" - это просто кусок невразумительного жаргона в насмешку над песнопениями, используемыми монахами во время молитв; и он дает такой контрперевод поэмы: - "Они творят суровые песни, они издеваются над монахами.

"Они слагают суровые песни; они записывают восемь чисел. В понедельник они будут любопытствовать. Во вторник они расходятся, гневаясь на своих противников. В среду они пьют, наслаждаясь показно. В четверг они в хоре; их бедность неприятна. Пятница - день изобилия, мужчины купаются в удовольствиях. В воскресенье, конечно, пять легионов и пять сотен, они молятся, восклицают: О Brithi, О Brithoi! Они будут шуметь, как кукушки, каждый из идиотов будет стучать по земле".

Когда читаешь объяснение и перевод мистера Нэша после перевода Эдварда Дэвиса, чувствуешь, что на "*Панегирик о Ллудде Великом*" внезапно пролился поток дневного света здравого смысла, и очень благодарен мистеру Нэшу.

Или, когда другой любитель кельтов, мистер Герберт, озадачивает нас своими фантазиями, столь же некритичными, как и у Эдварда Дэвиса; своим неodruidизмом, своей митрианской ересью, своим Crist-celi, или человеком-богом тайн; и, прежде всего, своей обезьяной святыни, "обозначающей меркуриальный принцип, этот странный и необъяснимый позор язычества", мистер Нэш приходит к нам на помощь, и оказывается наиболее освежающе рациональным. Ограничимся только обезьяной из святыни. Мистер Герберт создает свое чудовище, которому, по его словам, приписывается "великая святость, а также нечестные преступления, обман и вероломство", из четырех строк старой валлийской поэзии, которые он переводит следующим образом.

"Без обезьяны, без стойла коровы, без мирского вала мир станет пустынным, не требуя кукушек, чтобы созвать назначенный танец над зеленью".

Не очень понятно, что все это значит, но, во всяком случае, в ней есть торжественная атмосфера, которая подготавливает к развитию ее первого персонажа, обезьяны, в мистическую обезьяну святыни. Корова тоже, - говорит другой знаменитый любитель кельтов, доктор Оуэн, ученый автор валлийского словаря, - корова (*henfon*) - это корова переселения; и это тоже звучит достаточно естественно. Но мистер Нэш, обладающий острым глазом на часто встречающиеся в этих старых фрагментах фрагменты, заметил, что именно здесь, где появляются обезьяна святыни и корова переселения, похоже, находится скопление пословиц, народных изречений; и он сразу же вспомнил пословицу,

сохранившуюся со словом *henfon*, где, как он справедливо говорит, "корова переселения не может иметь места". Эта пословица, переведенная дословно на английский, звучит так: "Кто владеет старой коровой, пусть ходит у нее под хвостом"; и смысл ее, как народной поговорки, достаточно ясен и прост. С этой подсказкой мистер Нэш рассматривает весь отрывок, предполагает, что *heb erra*, "без обезьяны", с которого начинает мистер Герберт, на самом деле относится к чему-то предшествующему, и его следует переводить несколько иначе; и, короче говоря, то, что мы имеем здесь на самом деле, - это просто три пословицы, следующие одна за другой: "Первая доля - полная". Вежливость - это естественно, говорит обезьяна. Без коровьего стойла не было бы навозной кучи". И вряд ли можно сомневаться, что мистер Нэш совершенно прав.

Даже друзья кельта, которые совершенно не способны на подобные экстравагантности, слишком часто впадают в вольную критику в отношении него и документов его истории, что неудовлетворительно само по себе, а также дает преимущество его многочисленным врагам. Один из лучших и самых восхитительных друзей, которых он когда-либо имел, - месье де ла Вильмарке - достаточно ясно видел, что часто предполагаемая древность его документов не может быть доказана, что она может быть даже опровергнута, и что он должен полагаться на другие опоры, кроме этой, чтобы установить то, что он хочет; тем не менее, можно найти его говорящим: "Я открываю собрание валлийских бардов с шестого по десятый век. Талиесин, один из старейших из них" ... и так далее. Но его противники отрицают, что у нас действительно есть такая вещь, как "собрание валлийских бардов с шестого по десятый век", или что "Талиесин, один из древнейших", существует, чтобы его можно было процитировать в защиту любого тезиса. Шэрон Тернер, чья "*Виндикация древнебританских поэм*" была продиктована, как мне кажется, несомненным критическим инстинктом, слаба и некритична в таких деталях, как: "Странная поэма Талиесина, называемая *Spoils of Annwn*, подразумевает существование (в шестом веке, он имеет в виду) мифологических рассказов об Артуре; а частые ссылки старых валлийских бардов на лиц и происшествия, которые мы находим в *Мабиногионе*, являются дополнительными доказательствами того, что среди валлийцев должны были быть в ходу такие истории". Но критик должен доказать своим противникам, что "*Spoils of Annwn*" - это настоящая поэма VI века, автором которой был настоящий поэт VI века по имени Талиесин, прежде чем он сможет использовать ее для доказательства того, что хочет доказать Шарон Тернер; И подобным образом, высокая древность лиц и происшествий, найденных в рукописях *Мабиногиона*, - рукописях, написанных, как и знаменитая *Красная книга Гергеста*, в библиотеке Иисус-колледжа в Оксфорде в четырнадцатом и пятнадцатом веках, - не доказывается аллюзиями старых валлийских бардов, пока (а это как раз тот вопрос, о котором идет речь) не будет доказано, что произведения, содержащие эти аллюзии, сами обладают очень высокой древностью. При нынешнем состоянии вопроса о ранней валлийской литературе подобные рассуждения неубедительны, вызывают недоумение и просто водят нас по кругу. И опять же, это хуже, чем неубедительные рассуждения, они демонстрируют настолько некритичный дух, что вызывают серьезное недоверие, когда г-н Уильямс аб Ител, нанятый г-ном Вильямсом аб Ителом. Уильямс аб Итель, нанятый Магистром Роллов для редактирования *Brut y Tywysogion*, "Хроник Принцев", говорит в своем введении, во многих отношениях столь полезном и интересном: "Мы можем добавить, на основании авторитета скрупулезно верного антиквара, и того, кто был глубоко сведущ в традициях своего ордена - покойного Иола Морганвга - что король Артур в своих Институтах Круглого Стола ввел возраст мира для событий, которые произошли до Христа, и год рождества Христа для всех последующих событий. Теперь, если отбросить вопрос о характере Иола Морганвга как антиквара, очевидно, что никто, кроме самого Гримма, не может служить таким "авторитетом" для короля Артура, который регулировал хронологию в своих "Институтах Круглого стола", или даже для того, что такие

институты вообще когда-либо существовали. И наконец, как бы я ни уважал и ни восхищался мистером Юджином О'Карри, неоспоримой пронизательностью и умеренностью, которые он в целом сочетает со своей огромной образованностью, я должен сказать, что и он, как и его братья-кельты, иногда опасно разоблачает себя. Например, Королевская ирландская академия хранит в своем музее реликвию величайшей ценности - *Domhnach Airgid*, латинский манускрипт четырех Евангелий. Внешняя коробка, в которой хранится эта рукопись, относится к XIV веку, но сама рукопись, говорит О'Карри (и никто лучше него не может судить об этом), несомненно, относится к VI. Все это очень хорошо. "Но, - продолжает О'Карри, - я считаю, что не может быть никаких разумных сомнений в том, что *Domhnach Airgid* действительно был освящен рукой нашего великого апостола". Получив это заверение от такого человека, как Юджин О'Карри, испытываешь трепет; веришь, что он действительно собирается прояснить, что святой Патрик действительно освятил *Domhnach Airgid* своими руками; и читаешь дальше: - "Как утверждает святой Патрик, он действительно освятил *Domhnach Airgid* своими руками."

"Когда святой Патрик, говорится в древнем житии святого Мак Картейнна, сохраненном Колганом в его *Acta Sanctorum Hiberniæ*, шел с севера и подошел к месту, которое теперь называется Клогер, он был перенесен через поток своим сильным человеком, епископом Мак Картейнном, который, неся святого, громко стонал, восклицая: "Уф! Уф!"

"Клянусь тебе добрым словом, - сказал святой, - тебе не пристало так шуметь".

"Я уже стар и немощен, - сказал епископ Мак Картейнн, - и все мои ранние соратники по миссионерской работе обосновались в своих церквях, а я все еще в разъездах".

"Тогда найди церковь, - сказал святой, - которая будет не слишком близка к нам" (то есть к его собственной церкви в Армаге) "для знакомства и не слишком далека от нас для общения".

И тогда Святой оставил епископа Мак Картейнна там, в Клогере, и даровал ему *Домнах Эйргид*, который был дан Патрику с небес, когда тот был на море и шел в Эрин".

Легенда полна поэзии, полна юмора; прочитав ее, можно вполне оценить такт, благодаря которому святой Патрик добился такого успеха в организации первобытной церкви в Ирландии; новый епископ, "не слишком близкий к нам для знакомства, и не слишком далекий от нас для общения", - это шедевр. Но как мог Юджин О'Карри вообразить, что для доказательства того, что конкретный манускрипт, хранящийся сейчас в музее Ирландской королевской академии, когда-то был в кармане у святого Патрика, нужна всего лишь легенда, подобная этой?

Я настаиваю на подобных экстравагантах не для того, чтобы высмеять кельтопоклонников, - напротив, я им очень сочувствую, - а скорее для того, чтобы дать понять, какое огромное преимущество имеют кельтоненавистники, отрицательная сторона, в споре о кельтской древности; как много может полностью разрушить ясный скептик, такой как мистер Нэш, и, разрушив, создать видимость полной победы. Но полной победы, как я покажу далее, он отнюдь не одержал.

II.

Я сказал, что такой скептик, как мистер Нэш, разрушая мусор кельтских антикваров, может часто создавать видимость полной победы, но на самом деле полной победы он отнюдь не одержал. Он разгреб много мусора, но это не такой уж сложный подвиг, и требует он в основном здравого смысла; конечно, валлийские археологи склонны терять свой здравый

смысл, но в моменты, когда он у них есть, они могут выполнять необходимую, негативную часть критики, правда, не так быстро и ловко, как мистер Нэш, но все же достаточно хорошо. Эдвард Дэвис, например, совершенно ясно увидел, что предполагаемые остатки старой валлийской литературы нельзя принимать за подлинные в том виде, в каком они существуют: "Какой-то мелкий и жалкий менестрель, который только напевал ее как старую песню, присовокупил" (говорит он о стихотворении, которое обсуждает) "эти строки, по стилю и размеру совершенно отличные от предыдущих стихов: "Да дарует нам Троица милость в день суда: либеральное пожертвование, добрые джентльмены!" Вот так, за пятьдесят лет до мистера Нэша, появился клир, похожий на один из клиров мистера Нэша. Но самый трудный подвиг в этом деле - подвиг построения; определить, когда убрано все, что должно быть убрано, каково значение того, что осталось; и здесь, признаюсь, я думаю, что мистер Нэш и его коллеги-скептики, утверждающие, что почти ничего не осталось и что значение того, что осталось, почти ничтожно, не устраивают подлинного критика даже больше, чем Эдвард Дэвис и его братья-энтузиасты, которые чувствуют, что там есть что-то примитивное, величественное и интересное, хотя и не могут извлечь это, не устраивают его. Есть очень назидательная история, рассказанная О'Карри, о эффекте, произведенном на Мура, поэта, который взялся писать историю Ирландии (задача, для которой он был совершенно непригоден), созерцанием старого ирландского манускрипта. Мур, ничего не зная о них, небрежно отозвался о ценности для историка Ирландии материалов, предоставляемых такими манускриптами; но, говорит О'Карри: - "В 1839 году, когда я был в гостях у О'Карри, я был в гостях у О'Карри.

В 1839 году, во время одного из своих последних визитов в страну своего рождения, он, в компании со своим старым и близким другом доктором Петри, оказал мне неожиданный визит в Королевскую ирландскую академию. В тот период я работал в службе Орденской съемки Ирландии, и во время его визита у меня на столе лежали *Книги Баллимота и Лекайна*, "*Крапленая книга*", "*Анналы четырех мастеров*" и многие другие старинные книги для исторических исследований и справок. Я никогда прежде не видел Мура, и после краткого представления и объяснения сути моего занятия доктором Петри, увидев грозное множество темных и потрепанных временем томов, которыми я был окружен, он выглядел немного смущенным, но через некоторое время набрался храбрости и открыл *Книгу Баллимота* и спросил, что это такое. Затем мы с доктором Петри приступили к краткому объяснению истории и характера представленных книг, а также древних гаэдских документов в целом. Мур слушал с большим вниманием, попеременно осматривая то книги, то меня, а затем серьезным тоном спросил, понимаю ли я их и как я этому научился. Удовлетворившись этим вопросом, он повернулся к доктору Петри и сказал: "Петри, эти огромные тома не могли быть написаны дураками или с какой-то глупой целью. Я никогда ничего не знал о них раньше и не имел права братья за "*Историю Ирландии*".

И с того дня Мур, как говорят, потерял всякое желание продолжать свою "*Историю Ирландии*", и только настойчивость издателей побудила его выпустить оставшийся том.

Они не могли быть написаны дураками или с какой-либо глупой целью. Я убежден, что это верное предчувствие, которое нужно иметь в голове, когда смотришь на ирландские документы, такие как Книга Баллимота, или валлийские, такие как *Красная книга Хергеста*. В некоторых отношениях, во всяком случае, эти документы являются тем, за что себя выдают, они содержат то, на что претендуют, они касаются того первобытного мира, голосом которого они себя выдают. Истинный критик - тот, кто может обнаружить в них эту драгоценную и подлинную часть и использовать ее для прояснения гения и истории кельта, а также для любых других плодотворных целей, к которым она может быть применена. Просто

указать на смесь позднего и поддельного в них - значит затронуть лишь краешек вопроса. Опираясь на обнаружение этой смеси позднего и поддельного в них, полностью отрицать их, рассматривать их как кучу мусора, массу подделок среднего возраста, значит впадать в величайшую возможную ошибку. Допустим, что все рукописи валлийской поэзии (возьмем ту ветвь кельтской литературы, которая имеет в лице мистера Нэша самого блестящего пренебрежителя) были переписаны. Нэш, самый искусный пренебрежитель), допустим, что все эти рукописи, которыми мы располагаем, за самым незначительным исключением, не старше двенадцатого века; допустим, что двенадцатый и тринадцатый века были временем большой поэтической активности в Уэльсе, временем расцвета средневековой литературы, как она расцветала в Англии, Франции и других странах; допустим, что многое из того, что валлийские энтузиасты приписывают своим великим традиционным поэтам шестого века, относится к этой поздней эпохе, - что тогда? Избавится ли это от великих традиционных поэтов - Сунвеирдд или старых бардов, Аневрина, Талиесина, Лливарха Хена и их соратников, - избавится ли это вообще от великой поэтической традиции шестого века, сольет ли это всю литературную древность Уэльса с ее средневековой литературной древностью, или, по крайней мере, сведет все остальное, кроме этого, к незначительности? Мистер Нэш утверждает, что да; все его усилия направлены на то, чтобы показать, как много так называемых произведений шестого века может быть отнесено к произведениям средневековья, двенадцатого - 1600 века; его главный тезис заключается в том, что в сохранившейся валлийской литературе нет ничего примитивного и дохристианского, никаких следов друидизма и язычества, которые все связывают с кельтской древностью; все это, говорит он, было уничтожено Паулином в н.э. 59 г. и никогда не возрождалось. В то время, когда были написаны "Мабиногион" и баллады Талиесина, в Уэльсе не существовало никаких традиций или народных воспоминаний о друидах или друидической мифологии. Валлийские барды не знали ни о древних тайнах, ни о мистическом вероучении, неизвестном остальному христианскому миру". И мистер Нэш жалуется, что "старое мнение о том, что валлийские поэмы содержат извещения о друидских или языческих суевериях отдаленного происхождения", все еще находит сторонников; то, что мы находим в них, это только, по его словам, то, что циркулировало в Уэльсе в двенадцатом веке, и одна большая ошибка в этих исследованиях заключается в предположении, что валлийцы двенадцатого или даже шестого века были мудрее и более языческими, чем их соседи".

Что за удивительная вещь! Во-первых, у нас есть самые весомые и ясные свидетельства - свидетельства Страбона, Цезаря, Лукана, - что эта раса когда-то обладала особой, глубокой, духовной дисциплиной, что они были, выражаясь словами мистера Нэша, "мудрее своих соседей". Слова Лукана необычайно ясны и сильны, и служат хорошим ориентиром в этом споре, в котором иногда смущаешься, слыша цитаты авторитетов с той или иной стороны, когда не уверен, что именно они говорят, много или мало; Лукан, обращаясь к тем, кто до сих пор находился под давлением Рима, а теперь оставлен римской гражданской войной на произвол судьбы, говорит: - "Вы тоже, барды!

"И вы, барды, увековечившие своими восхвалениями память павших храбрецов, без помех изливали свои строки. И вы, друиды, теперь, когда меч был убран, снова приступили к своим варварским обрядам и странным торжествам. Только вам дано знание или незнание (в зависимости от того, что именно) о богах и силах небесных; ваше жилище - в одиноком сердце леса. От вас мы узнаем, что путь призрака человека - это не бессмысленная могила, не бледное царство монарха внизу; в другом мире его дух еще живет; смерть, если ваши предания верны, - это лишь переход к вечной жизни".

Есть свидетельство образованного римлянина, спустя пятьдесят лет после Христа, о том, что кельтская раса тогда была "мудрее своих соседей"; свидетельство тем более примечательное, что цивилизованные народы, хотя и склонны приписывать варварским народам идеальную чистоту и простоту жизни и манер, отнюдь не склонны приписывать им высокие достижения в интеллектуальных и духовных вещах. А теперь, наряду с этим свидетельством Лукана, следует вспомнить замечание Сезара о том, что друиды, отчасти из религиозных соображений, отчасти из желания дисциплинировать память своих учеников, ничего не записывали. Что ж, затем последовали сокрушительное поражение кельтской расы в Британии и римское завоевание; но кельтская раса все еще существовала здесь, и любой может увидеть, что, пока она существовала, традиции такой дисциплины, как та, которую нарисовал Лукан, вряд ли были бы так быстро "погашены". Уход римлян, восстановленная независимость местной расы, саксонское вторжение, борьба с саксами - все это было как раз почвой для одного из тех всплесков энергичной национальной жизни и самосознания, которые находят голос во всплеске поэтов и поэзии. Соответственно, к этому времени, к шестому веку, универсальная валлийская традиция относит великую группу британских поэтов, Талиесина и его собратьев. В двенадцатом веке в Уэльсе начался, наряду с очередным всплеском национальной жизни, еще один всплеск поэзии; и этот всплеск *был литературным* в самом строгом смысле этого слова, - всплеск, который впервые оставил письменные записи. Он оставил записи как о своих предшественниках, так и о себе, и поэтому мистер Нэш хочет сделать его настоящим автором всей поэзии, можно сказать, шестого века, а также своей собственной. Несомненно, невозможно создать тексты поэзии шестого века; несомненно, мы имеем ее только в том виде, в каком ее записали двенадцатый и последующие века; несомненно, при записи они многое смешивали и изменяли. Но поскольку непрерывный поток свидетельств указывает на постоянное существование и влияние среди родственных кельтов Уэльса и Бретани с шестого по двенадцатый век старой национальной литературы, кажется несомненным, что многое из этого должно быть прослежено в документах двенадцатого века, и самое интересное - проследить это. Нельзя отрицать, что существует такой непрерывный поток свидетельств; есть Гильдас в шестом веке, Ненний в восьмом, законы Хауэла в десятом; В одиннадцатом, за двадцать или тридцать лет до начала новой литературной эпохи, мы слышим о том, что Рис ап Тюдор "привез с собой из Бретани систему Круглого стола, которая на родине была совершенно забыта, и восстановил ее в том виде, в каком она была в Керлеоне-на-Уске, при императоре Артуре, во времена суверенитета расы кимров над островом Британия и прилегающими к нему островами." Мистер Нэш комментирует это так: "Мы видим, что артурианский роман был завезен из Бретани и почти на одно поколение предшествовал возрождению музыки и поэзии в Северном Уэльсе"; и все же он, кажется, не понимает, какое свидетельство реальности, полноты и существования той первобытной литературы, к которой он относится так скептически. В двенадцатом веке свидетельства о первобытной литературе в изобилии; можно привести ни одно из них лучше, чем свидетельство Гиральдуса де Барри, или Гиральдуса Камбренса, как его обычно называют. Гиральдус - прекрасный авторитет, который хорошо знал, о чем писал, и он говорит о валлийских бардах и рапсодах своего времени как о людях, имевших в своем распоряжении "древние и подлинные книги" на валлийском языке. Аппарат технических терминов поэзии и сложная поэтическая организация, которую мы находим как в Уэльсе, так и в Ирландии, существующую с самого начала средневекового литературного периода в каждой из них, и на которую, насколько я знаю, не похожа ни одна другая средневековая литература в самом начале своего развития, несомненно, указывает на ясную и стойкую традицию более древнего поэтического периода большого развития у этих кельтских народов и почти

неотразимо связывает себя с развитой друидической дисциплиной, о которой упоминает Сезар.

Но, возможно, лучший способ получить полное представление об этой легендарной древности, составляющей как бы фон для тех средневековых документов, с которых, по мнению г-на Нэша, все начинается. Нэша начинаются и заканчиваются сами собой, - это взять, почти наугад, отрывок из такой сказки, как *"Килхвх и Олвен"* из *"Мабиногиона"*, - этого очаровательного сборника, за который мы так обязаны леди Шарлотте Гост (называем ее по-прежнему по имени, которое она носила, когда счастливо вошла в мир письма), и который она так немилосердно терпит, оставаясь вне печати. Почти каждая страница этой сказки отсылает к традициям и персонажам самой отдаленной древности и пронизана дыханием первобытного мира. Идет поиск Мабона, сына Модрона, который был похищен в возрасте трех ночей между матерью и стеной. Искатели отправляются сначала к Оуселу из Килгври; Оусел прожил достаточно долго, чтобы обтесать кузнечную наковальню до размера ореха, но он никогда не слышал о Мабоне. Но есть раса животных, которые были созданы до меня, и я буду вашим проводником к ним". Так Усель привел их к оленю Рединвру. Олень видел, как дубовый саженец в лесу, где он жил, вырастает в дуб с сотней ветвей, а затем медленно разрушается до засохшего пня, но он никогда не слышал о Мабоне. Но я буду вашим проводником туда, где живет животное, которое появилось раньше меня", - и он повел их к сове из Квм Каулвид. Когда я впервые пришел сюда, - говорит Сова, - широкая долина, которую вы видите, была лесистой. Пришли люди и выкорчевали его. И вырос второй лес, а этот лес - третий. Мои крылья, разве это не засохшие пни? Однако Филин, несмотря на свой огромный возраст, никогда не слышал о Мабоне; он предложил быть проводником "туда, где живет самое старое животное в мире и то, которое больше всех путешествовало, - Орел из Гверн-Абви". Орел был так стар, что скала, с вершины которой он каждый вечер клевал звезды, теперь была не больше пролета в высоту. Он ничего не знал о Мабоне, но был чудовищный Лосось, в которого он однажды вонзил свои когти в Ллин-Лливе, который, возможно, мог бы рассказать им что-нибудь о нем. И наконец лосось из Ллин-Ллива рассказал им о Мабоне. С каждым приливом я иду по реке вверх, пока не приближаюсь к стенам Глостера, и там я нашел такую беду, какой не находил нигде". И Лосось поднял посланцев Артура на своих плечах к стене тюрьмы в Глостере, и они доставили Мабона.

Ничто не может лучше передать то ощущение первобытной и досредневековой древности, которое, как мне кажется, ясно ощущается в этих останках, в какое бы время они ни были написаны; или же лучше послужить проверке слишком абсолютного принятия доктрины мистера Нэша, - в некоторых отношениях очень полезной, - "что общее предположение о датировке таких останков шестым веком было сделано на очень неудовлетворительных основаниях". Это правда; правда и то, что, как он говорит далее, "писатели, утверждающие, что произведения, существующие только в рукописях двенадцатого, относятся к шестому веку, должны продемонстрировать внутренние или внешние связи, которые соединяют этот огромный промежуток времени, по крайней мере, в пятьсот лет". Затем мистер Нэш продолжает: "Эти внешние свидетельства полностью отсутствуют". Не совсем, как мы видели; это утверждение слишком сильное. Но я готов пропустить его, потому что это правда, что без внутренних доказательств в этом вопросе внешние доказательства не имеют никакого значения. Но когда мистер Нэш продолжает далее: "И внутренние свидетельства даже самих так называемых исторических поэм, по крайней мере, в некоторых случаях, противоречат их претензиям на происхождение в шестом веке", и оставляет этот вопрос на этом, и заканчивает свою главу, я говорю, что это неудовлетворительный поворот вопроса, и неубедительное и бессильное завершение его главы; Потому что единственный интересный и плодотворный вопрос здесь заключается не в том, в каких случаях внутренние

свидетельства противостоят претензиям этих стихов на происхождение из шестого века, а в каких случаях они их поддерживают, и что означают эти останки шестого века, установленные таким образом.

И снова вопрос о мифологическом значении этих стихов. Мистер Нэш, как мне кажется, рассматривает и этот вопрос скорее в духе убежденного врага кельтов и их притязаний, зачастую весьма химерических, чем в духе незаинтересованного ученого. В самых древних сочинениях на валлийском языке мы не находим никаких следов друидов или языческой мифологии", - говорит он. Он и слышать не хочет о том, что в этих сочинениях есть, например, следы доктрины переселения душ, которую друидам в столь ясных выражениях приписал Сезар. Он очень сурово отзывается о немецком ученом, давно и положительно известном в этой стране, который уже внес несколько вкладов в наши знания о кельтской расе, и чьи труды, как я полагаю, еще не принесли нам главного плода, - о г-не Мейере. Он очень суров к мистеру Мейеру за то, что тот обнаружил в одной из поэм, приписываемых Талиесину, "жертвенный гимн, обращенный к богу Прайду, в его образе бога Солнца". Не мне высказываться за или против этого предположения г-на Мейера. Я не обладаю знаниями, которые необходимы для того, чтобы голос человека в этих вопросах имел какую-либо ценность; говоря просто как один из необразованных людей, я признаюсь, что аллегория, как мне кажется, играет в теориях мистера Мейера несколько чрезмерную роль; Артур и его двенадцать (?) рыцарей Круглого стола означают исключительно год с его двенадцатью месяцами; Персиваль и Мельник означают исключительно сталь и точильный камень; Стоунхендж и *Гододин* используются в чисто календарных целях; "*Нибелунги*", "*Махабхарата*" и "*Илиада*", наконец, повторяют судьбу *Гододина*; все это кажется мне, признаюсь, несколько преждевременным, несколько необоснованным. Но то, что любой, кто знает набор современной мифологической науки по отношению к астрономическим и солнечным мифам, набор, который уже оправдал себя во многих отношениях так победоносно, и который настолько неотразим, что едва ли теперь можно смотреть на солнце, не испытывая ощущений мотылька; то, что любой, кто знает это, должен найти в валлийских останках никаких следов мифологии, совершенно поразительно. Герои и героини старого цимрского мира - все на небе, как и в валлийских сказаниях; Артур - Большая Медведица, его арфа - созвездие Лиры; кресло Кассиопеи - Ллис Дон, Двор Дона; дочь Дона - Арианрод, и Северная Корона - Каэр Арианрод; Гвидион - сын Дона, и Млечный Путь - Каэр Гвидион. Вместе с Гвидионом - Мат, сын Матонви, "человек иллюзий и фантазий"; и стоит только опуститься ниже поверхности, - почти перед тем, как опуститься ниже поверхности, - как в мире, который населяют все эти персонажи, появляются иллюзии и фантазии, двойные смыслы и далеко идущий мифологический смысл. Что такое триста воронов Оуэна, и девять колдуний Передура, и собаки Аннуна, валлийского Аида, и птицы Рианнон, чьи песни были так сладки, что воины восемьдесят лет не могли околдоваться, слушая их? Что такое Аванк, водяное чудовище, о котором до сих пор хранит предание каждый озерный берег Уэльса, и его пословицы, и его музыка? Что такое Гвин, сын Нудда, король фей, правитель рода Tylwyth Teg, или рода красоты, который до самого рокового дня сражается каждый первый день мая - великий праздник солнца у кельтских народов - с Гвитиром за прекрасную Корделию, дочь Лира? Что за чудесная кобыла Тейрнион, которая в ночь на каждое первое мая жеребилась, и никто никогда не знал, что стало с жеребенком? Кто такой мистический Араун, король Аннуна, который на год поменял облик с Пвиллом, принцем Диведа, и воцарился вместо него? Это не средневековые персонажи; они принадлежат к более древнему, языческому, мифологическому миру. Первое, что бросается в глаза при чтении "*Мабиногиона*", - это то, как явно средневековый рассказчик грабит древность, тайной которой он не владеет; он подобен крестьянину, строящему свою хижину на месте Галикарнаса или Эфеса; он строит, но то, что он строит, полно материалов, истории

которых он не знает, или знает лишь по мерцающей традиции; - камни "не этого здания", но более древней архитектуры, более великой, более хитрой, более величественной. В средневековых историях ни одного из латинских или тевтонских народов это не бросается в глаза так, как в историях валлийцев. Килхвх, в уже цитированной истории о *Килхвхе и Олвен*, просит помощи у воинов Артура; приводится список этих воинов, который заполняет не знаю сколько страниц книги леди Шарлотты Гост; этот список - совершенная сокровищница таинственных руин: - "Teithi Hen son of the *Teithi Hen*, son of the Teithi Hen, son of the Teithi Hen, son of the Teithi Hen, son of the Teithi Hen, son of the Teithi Hen, son of the Teithi Hen, son of the Teithi Hen, s.

Тейти Хен, сын Гвинхама - (его владения поглотило море, и сам он едва спасся, и пришел к Артуру, и его нож имел такую особенность, что с тех пор, как он пришел туда, ни один из его наконечников не оставался на нем, и из-за этого на него напала болезнь, и он тосковал всю оставшуюся жизнь, и от этого он умер).

Дрем, сын Дремидида - (когда мошка вставала утром вместе с солнцем, Дрем мог видеть ее из Гелли Вик в Корнуолле, вплоть до Пен Блатаона в Северной Британии).

Кунур Keinvarvawc - (когда ему сказали, что у него родился сын, он сказал своей жене: Дамсель, если твой сын будет моим, его сердце всегда будет холодным, и в его руках не будет тепла)".

Как очевидна, опять же, незначительность влияния рассказчика на Тврх-Трвита и его странную историю! Как явно смешение известного и неизвестного, теневого и явного, различных слоев и порядков традиции, сбитых вместе, в истории о Бране Благословенном, истории, персонажи которой относятся к сравнительно позднему и историческому времени. Бран вторгается в Ирландию, чтобы отомстить за один из "трех несчастных ударов этого острова" - ежедневные удары, наносимые Бранвен ее мужем Матолвхом, королем Ирландии. Бран смертельно ранен отравленным дротиком, и только семь человек из Британии, "Острова Могучих", спасаются, среди них Талиесин: - "И повелел Бран им, что они должны быть на острове.

И повелел Бран отрубить ему голову. Возьмите вы мою голову, сказал он, и отнесите ее на Белую гору в Лондоне, и похороните ее там лицом к Франции. И долго вы будете в пути. В Харлехе ты будешь пировать семь лет, и птицы Рианнона будут петь тебе все это время. И все это время голова будет для тебя такой же приятной компанией, как и в моем теле. А в Гвалесе в Пенвро ты пробудешь четыреста лет, и можешь оставаться там, и голова с тобой, не испорченная, пока не откроешь дверь, что смотрит на Абер Хенвелен и на Корнуолл. А после того как вы откроете эту дверь, там вы можете больше не задерживаться; отправляйтесь тогда в Лондон, чтобы похоронить голову, и идите прямо вперед".

И они отрубили ему голову, и те семеро пошли с ним вперед. А Бранвен был с ними восьмым, и они причалили к Абер-Алау в Англси, и сели отдохнуть. И Бранвен посмотрела в сторону Ирландии и острова Могучих, чтобы понять, сможет ли она их увидеть. "Увы, - сказала она, - горе мне, что я вообще родилась; два острова были уничтожены из-за меня". Тогда она издала громкий стон, и сердце ее разбилось. И сделали ей четырехугольную могилу, и похоронили ее на берегу Алау.

Затем они отправились в Харлех и сели там пировать и пить; и тут прилетели три птицы и начали петь, и все песни, которые они когда-либо слышали, были суровы по сравнению с

ними; и на этом пиру они пробыли семь лет. Затем они отправились в Гвалес в Пенвро, и там они нашли прекрасное и царственное место с видом на океан, и в нем был просторный зал. И вошли они в зал, и две двери его были открыты, но третья дверь была закрыта, та, что смотрела в сторону Корнуолла. "Видишь вон там, - сказал Манавыддан, - дверь, которую мы не можем открыть". И в ту ночь они веселились и радовались. И оставались они там четыреста лет, и не думали, что когда-либо проводили время более радостное и веселое. И не устали они больше, чем в первый раз, когда пришли, и не знали, сколько времени они там пробыли. И было им так же приятно, когда глава был с ними, как если бы Бран сам был с ними.

Но однажды сказал Хейлин, сын Гвина: "Зло мне, если я не открою дверь, чтобы узнать, правда ли то, что о ней говорят". И он открыл дверь и посмотрел в сторону Корнуолла и Абер Хенвелена. И когда они посмотрели, то вспомнили все зло, которое когда-либо пережили, и всех друзей и товарищей, которых они потеряли, и все несчастья, постигшие их, как будто все это случилось на этом самом месте; и особенно судьбу их господина. И от волнения они не могли успокоиться, а отправились с головой в Лондон. А голову они похоронили на Белой горе".

Впоследствии Артур, в своей гордыне и самоуверенности, откопал голову, и это стало одним из "трех несчастных разоблачений острова Британия".

Очевидно, что вместе с новой легендой сюда примешивается, как сказали бы геологи, *обломок* чего-то гораздо более древнего; и тайна Уэльса и его гения не будет по-настоящему раскрыта, пока этот *обломок*, вместо того чтобы называться недавним, потому что он находится в контакте с тем, что было недавно, не будет отделен и не расскажет свою собственную историю.

Но когда мы показываем ему подобные вещи в валлийских останках, у мистера Нэша есть на это ответ. "О, - говорит он, - все это просто механизмы некромантов и магии, которыми, вероятно, в большей или меньшей степени владели все люди во все века". Как похожи творения человеческого разума в самые отдаленные времена и места! В этом сходстве мы видим лишь свидетельство существования общего фонда идей, по-разному развивавшихся под воздействием внешних обстоятельств. Материалы этих сказок не свойственны валлийцам". А затем мистер Нэш с большим знанием дела и изобретательностью указывает на то, что некоторые эпизоды этих сказок имеют свои аналоги в ирландской, скандинавской, восточной романтике. Он совершенно справедливо говорит, что утверждения Талиесина в знаменитой *"Ханес Талиесина"*, или *"Истории Талиесина"*, о том, что он присутствовал с Ноем в ковчеге, на Вавилонской башне и с Александром Македонским, "мы можем приписать поэтической фантазии христианского священника тринадцатого века, который привел этот роман в его нынешнюю форму". Мы можем сравнить эти утверждения о всеобщем присутствии чудотворного мага с высказываниями глемана, который декламирует англосаксонскую метрическую сказку под названием *"Песнь путешественника"*. Несомненно, можно показать, что самые отдаленные земли имеют общее свойство во многих чудесных историях. Это одно из самых интересных открытий современной науки; но современной науке не менее интересно знать, как гений каждого народа дифференцировал, так сказать, это их общее свойство; проследить в каждом случае то особое "разнообразие развития", которое, по выражению самого мистера Нэша, было вызвано "формирующим давлением внешних обстоятельств"; и не только формирующим давлением извне, но и формирующим давлением изнутри. Именно это хочет знать тот, кто занимается валлийскими останками в философском духе. Где сила для научных целей в том, чтобы сказать нам, что некоторые случаи, которые, как предполагается, в валлийской поэзии указывают на

сохранившуюся традицию доктрины переселения, встречаются и в ирландской поэзии, когда ирландская поэзия, как и валлийская, уходит корнями в тот кельтизм, который, как говорят, так сильно придерживался этой доктрины переселения? Где даже большая сила для научных целей, чтобы доказать, если бы это было возможно, что сохранившиеся остатки валлийской поэзии не содержат ни одной явной декларации друидической, языческой, дохристианской доктрины, если в сохранившихся остатках бретонской поэзии есть такие тексты, как этот из пророчества Гвенчлана: "Три раза должны мы все умереть, прежде чем мы придем к нашему окончательному покою"? Или как крик орлов, в той же поэме, о яростной жажде христианской крови, крик, в котором поэт, очевидно, дает волю своей собственной ненависти? Поскольку солидарность, чтобы использовать это удобное французское слово, бретонской и валлийской поэзии настолько полна, что можно почти наверняка предположить, что идеи одной не были нужны идеям другой. Вопрос в том, когда Талиесин говорит в *"Битве деревьев"*: "Я был во многих обличьях, прежде чем достиг конгениальной формы. Я был узким лезвием меча, я был каплей в воздухе, я был сияющей звездой, я был словом в книге, я был книгой в начале, я был светом в фонаре полтора года, я был мостом для перехода через три десятка рек; Я путешествовал как орел, я был лодкой на море, я был начальником в битве, я был мечом в руке, я был щитом в бою, я был струной арфы, я был очарован в течение года в пене воды. Нет ничего, в чем бы я не был", - вопрос в том, нет ли в этих "заявлениях о всеобщем присутствии чудотворного мага" ничего, что отличало бы их от "подобных творений человеческого разума в самые отдаленные времена и места"; нет ли в них внутренней глубины, строгости формы, торжественности тона, указывающих на все еще отдающееся эхо глубокой доктрины и дисциплины, каковой был друидизм? Предположим, мы сравним Талиесина, как предлагает нам мистер Нэш, с глеманом из англосаксонской *"Песни путешественника"*. Возьмем образец этой песни, который цитирует сам мистер Нэш: "Я был с израильянами и с эссиринами, с евреями, с индийцами и с египтянами; я был с медянами, с персами и с миргингами". Очень хорошо провести параллель с этой выдержкой Талиесина: "Я нес знамя перед Александром; я был в Ханаане, когда Авессалом был убит; я был на крупе коня Элиаса и Еноха; я был на высоком кресте милосердного сына Божьего; я был главным надзирателем при строительстве башни Нимрода; я был с моим королем в яслях осла; я поддерживал Моисея через воды Иордана; я был в маслобойне в стране Троицы; неизвестно, какова природа ее мяса и ее рыбы". Очень хорошо сказать, что эти утверждения "мы можем справедливо приписать поэтической фантазии христианского священника тринадцатого века". Конечно, можно; особенно последнее из утверждений Талиесина; хотя в то же время следует отметить, что валлиец проявляет гораздо больше огня и воображения, чем англосакс. Но Талиесин добавляет после своего: "Я был в Ханаане, когда убили Авессалома", *"Я был в зале Дона, прежде чем родился Гвидион"*; он добавляет после: "Я был главным надсмотрщиком при строительстве башни Нимрода", *"Я трижды был резидентом в замке Арианрода"*; он добавляет после: "Я был у креста вместе с Марией Магдалиной", *"Я получил свое вдохновение из котла Серидвен"*. И наконец, после средневекового штриха о посещении маслобойни в стране Троицы, он переходит к счету: "Я был наставлен во всей системе вселенной; я буду наставлен до дня суда на лице земли. Я сидел в неудобном кресле над Каэр Сидином и наблюдал за круговоротом без движения трех стихий. Не есть ли это чудо мира, которое не может быть открыто? И так он заканчивает поэму. Но вот кельтская, основная часть поэмы: именно здесь действительно действовало "формирующее давление"; и здесь, конечно, достаточно язычества и мифологии, к которым христианский священник тринадцатого века не мог иметь никакого отношения. Несомненно, ненаучно интерпретировать эту часть так, как это делают Эдвард Дэвис и мистер Герберт; но также ненаучно избавляться от нее, как это делает мистер Нэш. Уэльс и

валлийский гений не могут быть известны без этой части; и истинным критиком является тот, кто может наилучшим образом раскрыть ее реальное значение.

Итак, я говорю, что мы хотим *знать* кельта и его гений; не для того, чтобы возвеличить его или принизить, а для того, чтобы знать его. А для этого необходима бескорыстная, позитивная и конструктивная критика. Ни его друзья, ни его враги пока не дали нам ничего подобного. Его друзья дали нам материалы для критики, и за них мы должны быть благодарны; его враги дали нам негативную критику, и за это тоже, до определенного момента, мы можем быть благодарны; но критики, которая нам действительно нужна, ни те, ни другие нам пока не дали.

Однако филология, эта наука, которая в наше время добилась стольких успехов, не осталась в стороне от своей удачи в обращении с кельтами; филология почти впервые в своей жизни свела вместе кельта и здравую критику. Кельтская грамматика Цойса, чья смерть - столь тяжелая утрата для науки, представляет собой великолепный образец того терпеливого, бескорыстного отношения к объектам знания, которое является лучшей и наиболее привлекательной чертой Германии. Цойс не выступает ни как любитель, ни как ненавистник кельтов; в его книге нет ни малейших следов желания прославить тевтонизм или унижить кельтизм. Единственное желание, которое в ней прослеживается, - это стремление познать свой объект, язык кельтских народов, таким, какой он есть на самом деле. В этом он является образцом для студентов-кельтистов; и в награду за свой здравый метод ему было дано установить некоторые моменты, которые отныне являются кардинальными точками, ориентирами во всех обсуждениях кельтских вопросов, и которые никто не устанавливал до него. Люди наобум говорили о кельтских письменах той или иной эпохи; Цойс точно определил возраст того, что мы имеем в действительности. Возьмем кимрскую группу языков: наш самый ранний корнуоллский документ - словарь тринадцатого века; наш самый ранний бретонский документ - краткое описание поместья в документе девятого века; наши самые ранние валлийские документы - валлийские глоссы восьмого века к грамматике Евтихия и "*Искусству любви*" Овидия, а также стихи, найденные Эдвардом Лхюидом в манускрипте *Ювенкуса* в Кембридже. Упоминание этого фрагмента *Ювенкуса*, кстати, наводит на мысль о разнице между заинтересованной и незаинтересованной критической привычкой. Мистер Нэш занимается этим фрагментом; но, несмотря на всю его большую остроту и образованность, поскольку у него есть предубеждение, поскольку он не привносит в эти вопросы тот бескорыстный дух, который им необходим, он способен совершенно необоснованно избавиться от того или иного слова во фрагменте, которое его не устраивает; его работа со стихами - это работа адвоката, а не критика. На такие вещи Цойс не способен.

Тест, который Зевс использовал для установления возраста этих документов, - это научный тест, тест на орфографию, склонение и синтаксические формы. Эти вопросы далеко не в моей компетенции, но то, что ясно, звучно и просто, обладает естественной притягательностью для всех нас, и человек испытывает удовольствие, повторяя это. По словам Цойса, в валлийских и ирландских словах есть главный признак возраста, когда то, что грамматики называют "*destitutio tenuium*", еще не произошло; когда резкие согласные еще не превратились в ровные, *p* или *t* в *b* или *d*; когда, например, *map*, сын, еще не стал *tab*; *coet*, дерево, *coed*; *ocet*, борона, *oged*. Это четкий, научный тест, который можно применить, и точность которого можно проверить; я не говорю, что Цойс был первым человеком, который знал этот тест или применял его, но я говорю, что он первый человек, который при решении кельтских вопросов неизменно действовал с помощью этого и подобных научных тестов; первый человек, чьи работы имеют научный, стабильный характер; и поэтому он является образцом для всех исследователей кельтов.

Его влияние уже было очень счастливым; и поскольку я подробно остановился на определенной неудаче в критике Юджина О'Карри, - чьим делом, в конце концов, было описание и классификация материалов, а не критика, - позвольте мне показать на другом примере из Юджина О'Карри это хорошее влияние Цойса на кельтские исследования. Юджин О'Карри хочет установить, что в двенадцатом веке в Ирландии существовали композиции, датируемые более ранним временем, чем двенадцатый век, и он приступает к работе. Он берет одну из величайших сохранившихся ирландских рукописей, *Leabhar na h'Uidhre*, или "*Книгу коровы Дун*". Составителем этой книги был, по его словам, некий Маэлмуири, член религиозного дома Клуайнмакнойс. Он утверждает это на основании фразы в самой рукописи: "Это проба пера Маэлмуири, сына сына Конна на м'Бохта". Дату Маэлмуири он устанавливает по фрагменту в "*Анналах четырех магистров*" под 1106 годом: "Маэлмуири, сын сына Конна на м'Бохта, был убит посреди большой каменной церкви Клуайнмакнойс отрядом разбойников". Так он определяет дату написания "*Книги коровы Дун*". В этой книге содержится элегия на смерть святого Колумба. Еще до 1106 года язык этой элегии был настолько устаревшим, что требовал глоссы, чтобы сделать ее понятной, так как она сопровождается глоссой, написанной между строк. Эта глосса цитирует для объяснения устаревших слов ряд более древних сочинений, которые, следовательно, должны были существовать в начале двенадцатого века. Ничто не может быть надежнее; каждый шаг доказывается, и доказывается справедливо, по мере продвижения вперед. Таким образом, О'Карри представляет собой хороший образец разумного метода, столь необходимого в кельтских исследованиях и так мало применяемого Эдвардом Дэвисом и его собратьями; и в создание этого разумного метода Зевс, подавая пример в своем собственном отделе филологии, внес основной вклад.

Примирающую силу науки, которой я уже касался, вновь и вновь демонстрирует филология в своих кельтских исследованиях. Расы и языки нелепо соединялись, а единство часто опрометчиво предполагалось на тех стадиях, когда до настоящего единства было еще далеко, очень далеко. Науке приходится и еще долго придется быть разделителем и сепаратистом, разрывая произвольные и причудливые связи и рассеивая мечты о преждевременном и невозможном единстве. И все же наука - настоящая наука - признает в глубине своей души закон конечного слияния, примирения. Чтобы достичь этого, но достичь законным путем, она стремится. Например, она тянется к той же идее, которая наполняет ее старшую и божественную сестру, поэзию, - к идее сущностного единства человека; правда, тянется она к ней своими собственными путями. Но постоянно она показывает нам родство там, где мы думали, что существует изоляция. Какой школьник из нас не рылся в своем греческом словаре в поисках удовлетворительного объяснения этого старого названия Пелопоннеса - *Апиева земля*? И в пределах самого греческого языка его нет. Но скифское название земли "*аріа*", *водянистая, источающая воду*, означающая сначала *остров*, а затем *землю* - это название, которое мы находим в "*авіа*", *Скандинавия*, и в "*еу*" для *Олдерни*, не только объясняет нам *Апийскую землю* Софокла, но и указывает путь к целому миру отношений, о которых мы ничего не знали. Сами скифы - непонятный, далекий монгольский народ, каким он казался нам раньше, - когда мы обнаруживаем, что они по сути своей тевтонцы и индоевропейцы, а само их название совпадает с распространенным латинским словом "*scutum*", "*защищенный народ*", - какой сюрприз они нам преподносят! А затем, еще не оправившись от этого удивления, мы узнаем, что имя их отца и бога, Таргитавуса, переносит нас неизвестно насколько дальше в знакомую компанию. Это божество, *сияющее с таргетом*, греческий Геркулес, Солнце, содержит во второй половине своего имени, *tavus*, "*сияющий*", замечательный цемент, способный удерживать времена и народы вместе. *Тавус*, "*сияющий*", от "*тава*" - в санскрите, как и в скифском, "*гореть*" или "*сиять*", - это *Див*, *Диес*, *Зевс*, *Θεός*, *Дева*, и я не знаю, сколько еще; и *Тавити*, яркий и

горящий, огонь, место огня, очаг, центр семьи, становится самой семьей, так же как наше слово семья, латинское *familia*, происходит от *thymelé*, священного центра огня. Очаг означает дом. Затем от дома он переходит к группе домов, племени; от племени - к целому народу; и в этом значении нации или народа это слово встречается в готском, норвежском, кельтском и персидском языках, а также в скифском; *Theuthisks*, *Deutschen*, *Tudesques* - это люди одной *нации*, народа; и само наше название "*германцы*", возможно, является лишь римским переводом, означающим людей одного зародыша или рода. Кельтское божество, Тевтат, получило свое имя от кельтского *teuta*, народ; *taviti*, огонь, выступает здесь в своем вторичном и производном значении *народа*, как и в своем скифском языке во втором имени Таргитавуса, *Тавит-варус*, *Тевтарос*, защитник народа. Другое кельтское божество, Хесус Лукана, находит своего брата в Гайсосе, мече, символизирующем бога битв тевтонских скифов. [66] И после того, как филология таким образом связала друг с другом кельтов и тевтонов, она берет другую ветвь индоевропейской семьи, славян, и показывает нам, что они носят одно имя с германскими суэви, *солнечным* народом; общим основанием здесь также является та великая точка объединения, солнце, огонь. Так же и мистер Мейер, чьи кельтские исследования я только что упомянул, снова и снова говорит о связи между кельтами и германцами даже в Европе, если вернуться достаточно далеко назад. Итак, после всего, что мы слышали, и действительно слышали, о разнообразии между всем семитским и всем индоевропейским, теперь есть итальянский филолог, работающий над отношениями между санскритом и ивритом.

И в малом, и в большом филология, занимающаяся кельтскими вопросами, стала примером этой тенденции науки к единству. Кто не был озадачен отношением шотландцев к Ирландии - *vetus et major Scotia*, как называет это Колган? Кто не чувствует, какое удовольствие доставляет нам Цойс, когда предполагает, что *Gael*, название ирландских кельтов, и *Scot* - это, по сути, одно и то же слово, оба они происходят от слова, означающего *ветер*, и оба означают *буйных штормовых людей*? [68] Кто не почувствует, что его разум приятно прояснился относительно наших друзей фениев, когда узнает, что корень их названия, *fen*, "белый", появляется в имени героя Фингала; в *Gwynned*, валлийском названии Северного Уэльса в римской Венедотии; в *Vannes* в Бретани; в Венеции? Само название Ирландии, как утверждают некоторые, происходит от известного санскритского слова *Arya*, земля ариев, или благородных людей; хотя большинство мнений склоняется в пользу того, чтобы связать его скорее с другим санскритским словом, *avara*, *occidental*, западная земля или остров на западе. [69] Но, во всяком случае, кто, воспитанный в духе того, что кельты - полные пришельцы от нас и нашей культуры, может без сочувствия встретить такие слова, как *heol* (*sol*) или *buaist* (*fuisti*)? Или такое предложение, как это: "*Peris Duw dui funnaun*" ("Бог приготовил два фонтана")? Или когда мистер Уитли Стокс, один из самых способных ученых, сформировавшихся в школе Цойса, прирожденный филолог, - занимающий сейчас, увы, пост при правительстве Индии вместо кафедры филологии у себя дома, заставляет с грустью вспомнить высказывание Монтескье о том, что если бы он был англичанином, то никогда бы не создал свой великий труд, а заразился бы практической жизнью и посвятил себя тому, что называется "подняться в мире", - когда мистер Уитли Стоукс в своем издании "*Глоссария*" *Кормака* приводит ирландское слово *traith*, море, и заставляет нас заметить, что, хотя имена *Тритона*, *Амфитриты* и соответствующих индийских и зендских божеств указывают на значение "*море*", но только ирландский язык на самом деле дает этот вокабуляр, как восхитительно это вводит Ирландию в индоевропейский концерт! Какой полезный буфет это дает доктринам отчуждения лорда Линдхерста!

Идем немного дальше. Из двух великих кельтских языковых групп, гэльской и кимрской, гэльская, говорят филологи, больше связана с более молодой, более синтетической группой

языков, санскритом, греческим, зендским, латинским и тевтонским; кимрская - с более старой, более аналитической туранской группой. Из более синтетической арийской группы, опять же, зендский и тевтонский, в свою очередь, более свободны и аналитичны, чем санскрит и греческий, более близки к туранской группе и кельтской. На какие возможности родства и влияния здесь намекается; какие линии исследования, во всяком случае, достойные изучения, предлагаются взору. В формах своего языка нация выражает свое "я". Наш язык - самый свободный, самый аналитический из всех европейских языков. А мы, что же мы такое? Что такое Англия? Я не отвечаю: "Огромный неясный кимрский базис с огромной видимой тевтонской надстройкой"; но я скажу, что этот ответ иногда напрашивается сам собой, во всяком случае, иногда стучится в дверь нашего разума, чтобы нас пропустили; и мы начинаем метаться и смотреть, можно ли его пустить.

Но формы его языка - не единственный ключ к народу; то, что он говорит на своем языке, его литература, - вот главный ключ, и мы должны вернуться к литературе. Литература кельтских народов еще не имеет своего Зевса, и он ей очень нужен. Нам нужен Зевс, чтобы применить к кельтской литературе, ко всем ее сложным вопросам о датах, подлинности и значении, критику, здравый метод, бескорыстное стремление добраться до реальных фактов, которые Зевс продемонстрировал в работе с кельтским языком. Наука хороша сама по себе, и поэтому кельтская литература, - кельтоненавистникам не удалось доказать, что это пузырь, - кельтская литература интересна только как объект познания. Но наш интерес к кельтской литературе усиливается и удваивается, если мы обнаруживаем, что и здесь наука оказывает примиряющее, объединяющее влияние, о котором я так много говорил; если мы находим здесь, более чем где-либо, следы родства, и самого существенного родства, духовного родства, между нами и кельтами, о котором мы и не мечтали. Я ничего не решаю и не могу решить; у меня нет специальных знаний, необходимых для этого. Я не претендую на большее, чем попытаться пробудить интерес; уловить намеки, указать на признаки, которые любому человеку с чувством литературы подсказывают сами собой; стимулировать других исследователей. Я, конечно, должен быть лишен предвзятости, которая так часто делает валлийских и ирландских студентов экстравагантными; почему, само мое имя выражает ту особую семито-саксонскую смесь, которая делает типичного англичанина; я не могу преследовать никаких целей, чтобы найти в кельтской литературе больше, чем там есть. Что там есть - вот единственный вопрос для меня.

III.

Мы видели, как филология подводит нас к новым для нас идеям расового родства. Но очевидно, что это родство, даже если оно доказано, не может быть очень сильным, если оно не выходит за рамки той стадии, на которой мы до сих пор его наблюдали. Сродство между расами, все еще находящимися, так сказать, в материнской утробе, действительно имеет значение, но не может иметь большого значения. Пока кельты и тевтоны находятся в зачаточном состоянии или, по крайней мере, еще не вышли из колыбели, все еще заняты своими странствиями, сменой мест и борьбой за развитие, пока они еще не выкристаллизовались в твердые нации, они могут мимоходом соприкоснуться и смешиваться, и все же из этого мало что получится. Именно тогда, когда эмбрион вырос и затвердел в отдельную нацию, в галла или германца истории, когда он окончательно приобрел характеры, которые делают галла историческим человеком, германца историческим человеком, контакт и смешение важны и могут оставить длинный шлейф последствий; ведь кельт и тевтон к этому времени имеют свои сформировавшиеся, выраженные, национальные, неизгладимые качества, которые нужно противопоставить или передать. Контакт германцев континента с кельтами произошел в доисторические времена, и

определенный германский тип, каким мы его знаем, сформировался позже, и с того момента, как он сформировался, не подвергался влиянию кельтского типа. Но здесь, в нашей стране, в исторические времена, задолго после того, как кельтский зародыш выкристаллизовался в собственно кельтский, задолго после того, как германский зародыш выкристаллизовался в собственно германский, произошел важный контакт между двумя народами: саксы вторглись в страну бриттов и поселились в стране бриттов. И если саксы взяли верх, как мы все знаем, и заставили нашу страну стать Англией, а нас - англичанами, то, как можно предположить, должны остаться какие-то следы встречи саксов с бриттами; в нас должна быть какая-то кельтская жилка. Многие говорят, что ничего подобного нет, абсолютно ничего; *Saturday Review* рассматривает эти вопросы этнологии с большой силой и образованностью, и *Saturday Review* говорит, что мы - "нация, в которой норманнский элемент, как и гораздо меньший кельтский элемент, был настолько полностью поглощен, что тщетно искать норманнские или кельтские элементы в любом современном англичанине". А на днях в Цюрихе я прочел длинное сочинение об английской литературе одного из тамошних профессоров, в котором писатель заметил, как нечто примечательное, что в то время как другие страны, завоеванные немцами, - Франция, например, и Италия, - вытеснили все немецкое влияние из своего гения и литературы, есть две страны, изначально не германские, но завоеванные немцами, - Англия и немецкая Швейцария, - в которых гений и литература были чисто и без примеси немецких; и это он изложил как положение, которое никому не пришло бы в голову оспаривать.

Я говорю, что странно, что это так, и у нас, в частности, есть причина поинтересоваться, так ли это на самом деле; потому что, хотя, как я уже сказал, даже с точки зрения науки кельт имеет право быть известным, и мы заинтересованы в его познании, этот интерес значительно возрастает, если мы обнаруживаем, что он действительно имеет в нас какую-то часть. Вопрос должен решаться с помощью внешних и внутренних доказательств; язык и физический тип нашей расы дают определенные данные для проверки, а другие данные предоставляют наша литература, гений и духовная продукция в целом. Данные второго рода относятся к компетенции литературного критика; данные первого рода - к компетенции филолога и физиолога.

Филолог и физиолог - не моя компетенция; но этот вопрос о смешении кельтского и саксонского в нас так мало исследован, люди так склонны решать его наскоком, в соответствии со своими предпочтениями, что даже о филологической и физиологической стороне его я должен сказать несколько слов вскользь. Конечно, любого, кто задумывается об этом, должно удивить, что без какого-либо огромного притока целого народа, что просто экспедиции захватчиков должны были прийти из-за моря, и не в большем количестве, чем саксы, насколько мы можем судить, действительно пришли, старые обитатели этого острова, кельтские бритты, должны были быть полностью уничтожены, или даже настолько полностью поглощены, что тщетно искать кельтские элементы в существующей английской расе. О намеренном поголовном истреблении кельтской расы, всех, кто не смог улететь в Уэльс или Шотландию, мы ничего не слышим; а без такого истребления можно было бы предположить, что огромная масса их должна была остаться в стране, их удел - неясная и, так сказать, подпольная участь подвластной расы, но все же они незаметно смешиваются со своими завоевателями, и их кровь входит в состав нового народа, в котором доля завоевателей составляет большую часть, но и доля завоеванных тоже имеет значение. Насколько мало триумф законов, манер и языка завоевателя доказывает исчезновение старой расы, мы можем увидеть на примере Франции; Галлия была латинизирована в языке, манерах и законах, и все же ее народ остался по сути кельтским. Германизация Британии прошла гораздо глубже, чем латинизация Франции, и не только законы, манеры и язык, но и

основной ток крови стал германским; но как без какого-то процесса вымирания радика, о котором, как я уже сказал, нет никаких доказательств, в Британии, как и в Галлии, могло не сохраниться и кельтское течение? Признаки этого в нашем языке еще никогда не были тщательно исследованы; кельтские названия мест, конечно, ничего не доказывают в отношении рассматриваемого вопроса; они происходят из доисторических времен, времен до того, как выкристаллизовались нации, германские или кельтские, и они повсюду, как раньше повсюду был стремительный кельт, - в Альпах, Апеннинах, Севеннах, Рейне, По, так же как в Темзе, Хамбере, Камберленде, Лондоне. Но утверждается, что слова кельтского происхождения, обозначающие вещи, имеющие отношение к повседневной мирной жизни, жизни оседлого народа, - такие как *basket* (например, известный всему миру), - составляют гораздо больший пласт в нашем языке, чем принято считать; утверждается, что ряд наших самых расовых, самых идиоматических, популярных слов - например, *bam, kick, whop, twaddle, fudge, hitch, muggy* - кельтские. Эти утверждения требуют тщательного изучения, и из них ни в коем случае не следует, что раз английское слово встречается в кельтском языке, значит, мы получили его оттуда; но они еще не получили того внимания, которого заслуживают, поскольку иллюстрируют с помощью языка существование и смешение в нашей нации кельтской части.

Физиологические данные, которые иллюстрируют этот вопрос, также не получили от нас в Англии гораздо больше внимания. Но во Франции врач, наполовину англичанин по крови, но француз по месту жительства и языку, месье У. Ф. Эдвардс, брат месье Милн-Эдвардса, известного зоолога, опубликовал в 1839 году письмо к месье Амедею Тьерри под таким названием: *Des Caractères Physiologiques des Races Humaines considérés dans leurs Rapports avec l'Histoire*". Письмо привлекло большое внимание на континенте; оно занимает не более ста страниц, и это сто страниц, которые вполне заслуживают того, чтобы их читали и перечитывали. Месье Тьерри в своей "*Истории галлов*" разделил население Галлии на определенные группы, и целью месье Эдвардса было проверить это деление с помощью физиологии. Группы людей, говорит он, имеют свой физический тип, который отличает их, так же как и их язык; следы этого физического типа сохраняются, как сохраняются следы языка, и физиология может проверить по ним историю. Соответственно, он определяет физический тип каждой из двух великих кельтских семей, гэлов и кимров, которые, как говорят, были распределены в определенном порядке по Галлии, а затем отслеживает эти типы в населении Франции в наши дни и таким образом проверяет предполагаемый первоначальный порядок распределения. При этом он совершает экскурсию в соседние страны, где жили гэлы и кимры, и заявляет, что в Англии он находит многочисленные следы физического типа, который он определил как кимрский, все еще сохраняющегося в нашем населении и произошедшего от старых британцев, владевших нашей землей до саксонского завоевания. Но если верить современному английскому мнению, говорит месье Эдвардс, то эти старые британские владельцы уже исчезли. По поводу этого мнения он делает следующий комментарий: -

"На территории, занятой саксами, бритты уже не были ни независимой нацией, ни даже народом, имеющим хоть какое-то гражданское существование. Для истории, таким образом, они были мертвы, прежде всего для истории в том виде, в котором она тогда писалась; но они не погибли; они все еще жили, и, несомненно, в таком количестве, какое можно было ожидать от остатков великой нации, несмотря на ее бедствия. То, что бритты были уничтожены или изгнаны из Англии, как это правильно называется, является, как я уже говорил, популярным мнением в этой стране. Оно основано на преувеличении исторических писателей; но у этих самых писателей, когда мы внимательно изучаем их слова, мы находим признание, что остатки этого народа были приведены в состояние строгого рабства.

Привязанные к земле, они разделили ту эмансипацию, которая в течение средних веков постепенно вернула к политической жизни массу населения в странах Западной Европы; восстанавливая медленными степенями свои права, не возвращая себе своего имени, и постепенно поднимаясь с ростом промышленности, они получили распространение во всех слоях общества. Постепенность этого движения и неясность, окутавшая его истоки, позволили презрению завоевателя и стыду побежденного стать устойчивыми чувствами; так и получилось, что англичанин, который сейчас считает себя происходящим от саксов или норманнов, в действительности часто является потомком бриттов".

Таким образом, физиология, а также язык, несмотря на неполное применение их тестов в этом вопросе, могут заставить нас колебаться, прежде чем принять круглое утверждение, что напрасно искать кельтские элементы в любом современном англичанине. Но не только с помощью физиологических и языковых тестов мы можем проверить этот вопрос. Как для физиологии существуют физические признаки, такие как квадратные головы германцев, круглые головы гэлов, овальные головы кимров, которые определяют тип народа, так и для критики существуют духовные признаки, которые определяют тип и заставляют нас говорить о греческом гении, тевтонском гении, кельтском гении и так далее. Здесь к нашим услугам еще один тест; и этот тест тоже никогда не применялся досконально. Иностранные критики, правда, иногда высказывали мысль о том, что в английской поэзии прослеживается кельтский элемент; а у мистера Морли в его очень интересной и полезной книге об английских писателях до Чосера есть фраза, которая привлекла мое внимание, когда я ее прочитал, потому что она выражает мнение, которого я тоже давно придерживаюсь. Мистер Морли говорит: "Основное течение английской литературы не может быть отделено от живого кельтского остроумия, в котором оно имеет один из своих источников. Кельты не составляют совершенно отдельную часть нашего смешанного населения. Если бы не ранние, частые и разнообразные контакты с расой, которая в свои полуварварские времена придумала диалоги Оссиана со святым Патриком и которая впоследствии оживила кровь северян во Франции, германская Англия не произвела бы на свет Шекспира". Но на этом мистер Морли оставляет вопрос. Он указывает на кельтский элемент и влияние, но не показывает нам - в его задачи не входило показывать нам, - как это влияние заявило о себе. В отличие от физиологического или лингвистического теста, этот литературный, духовный тест, возможно, позволит мне попробовать свои силы в его применении. Я утверждаю, что в английской природе есть кельтский элемент, так же как и германский, и что этот элемент проявляется в нашем духе и литературе. Но прежде чем я попытаюсь указать, как он проявляется, возможно, следует получить четкое представление о том, что мы подразумеваем под кельтским элементом и германским элементом; какие черты характера определяют для нас кельтский гений и германский гений, как мы обычно представляем себе эти два понятия.

IV.

Позвольте мне повторить то, что я уже часто говорил о характеристиках, которые отличают английский дух, английский гений. Этот дух, этот гений, оцениваемый, конечно, скорее с точки зрения друга, чем врага, но в целом справедливо, характеризуется, как я уже неоднократно говорил, *энергией и честностью*. Отнимите часть энергии, пришедшей к нам, как я полагаю, отчасти из кельтских и римских источников; вместо энергии скажите, скорее, о *стойкости*; и вы получите германский гений *стойкости с честностью*. Очевидно, как близко эти две характеристики подходят друг к другу; и все же они оставляют, как мы увидим, большое пространство для различий. Устойчивость в сочетании с честностью; опасность для национального духа, составленного таким образом, заключается

в обыденности, простоте и уродстве, безродности: одним словом, *das Gemeine, die Gemeinheit*, это проклятие Германии, против которого Гете боролся всю свою жизнь. Превосходство национального духа, сформированного таким образом, - это свобода от капризов, взбалмошности, извращенности; терпеливая верность природе, одним словом, *наука*, - ведущая его наконец, хотя и медленно, и не самым блестящим путем, из рабства обыденности и повседневности к лучшей жизни. Всеобщий мертвенный уровень простоты и домашнего уюта, отсутствие всякой красоты и различия форм и черт, медлительность и неуклюжесть языка, вечное пиво, сосиски и скверный табак, повсюду пустая обыденность, давящая, наконец, как гиря, на дух путешественника в Северной Германии и заставляющая его с нетерпением ждать, когда он уедет, - вот слабая сторона; Индустрия, добросовестная работа, терпеливая разработка вещей, идея науки, управляющей всеми сферами человеческой деятельности, - вот сильная сторона; и благодаря этой стороне своего гения Германия уже добилась прекрасных результатов и предназначена, мы можем на это положиться, несмотря на ее педантизм, медлительность, неуверенность, неэффективность, плохое управление, которые иногда могут заставить нас кричать, к огромному развитию. [82]

За тупость - ползучие саксы, - говорится в старинной ирландской поэме, где перечисляются особенности, которыми славятся разные народы.

За остроту и доблесть - греки,
За чрезмерную гордость - римляне,
За тупость - ползучие саксы;
За красоту и амурность - гаэдхилы.

Мы увидели, в каком смысле и с какими объяснениями можно принять эту характеристику германцев; теперь перейдем к красивым и любвеобильным гаэдхилам. Вернее, давайте найдем определение, которое подойдет для обеих ветвей кельтской семьи, как для цимри, так и для гэлов. Понятно, что особые обстоятельства могли развить какую-то одну сторону в национальном характере цимрийца или гэла, валлийца или ирландца, так что внимание наблюдателя будет легко привлечено этой стороной, и все же невозможно принять ее как характерную для кельтской природы в целом. Например, в своем прекрасном эссе о поэзии кельтских рас М. Ренан, обращая внимание на бретонцев и валлийцев, поражается робости, застенчивости, деликатности кельтской натуры, ее предпочтению уединенной жизни, ее смущению от необходимости иметь дело с большим миром. Он говорит о *маленькой, но нежной расе, естественно, христианской*, его *расе, робкой и застенчивой, в глубине души - грубой и смущенной*. Но очевидно, что это описание, как бы хорошо оно ни подходило для кимров, никогда не подойдет для гэлов, никогда не подойдет для типичного ирландца с ярмарки в Доннибруке. Опять же, *бесконечное количество чувств, которыми характеризуется кельтская раса* у М. Ренана, - как мало это соответствует популярному представлению об ирландце, который хочет занять денег! Однако *сентимент* - это то слово, которое обозначает, где кельтские расы действительно соприкасаются и составляют единое целое; сентиментальность, если кельтская природа должна быть охарактеризована одним термином, - лучший термин для этого. Организация, которая быстро чувствует впечатления, и чувствует их очень сильно; живая личность, поэтому остро чувствительная к радости и к печали; вот в чем суть. Если падения в жизни слишком сильно превышают подъемы, этот темперамент, просто потому, что он так быстро и почти сознательно воспринимает все впечатления, может, без сомнения, показаться застенчивым и ранимым; он может проявляться в тоскливом сожалении, в страстной, пронзительной меланхолии; но его суть в том, чтобы страстно стремиться к жизни, свету и эмоциям, быть экспансивным, авантурным и веселым. Говорят, что слово *"reú"* само по себе кельтское. Оно происходит не

от *gaudium*, а от кельтского *gair* - смеяться;[84] и впечатлительный кельт, то поднимающийся, то опускающийся, тем более опускающийся, что такова его природа - подниматься, чтобы быть общительным, гостеприимным, красноречивым, восхищенным, блистательно выделяться. Он любит яркие краски, он легко становится дерзким, увертливым, полным фанфаронады. Немец, говорят физиологи, имеет больший объем кишечника (и кто хоть раз видел немца за столом в ресторане, не поверит в это?), у француза более развитые органы дыхания. Это просто экспансивная, нетерпеливая кельтская натура; голова в воздухе, фыркание и сопение; *гордый вид и высокий живот*, как говорит псалмопевец, но без какого-либо устоявшегося дикарского нрава, который псалмопевец, кажется, подразумевает под этими словами. К добру и к худу, кельтский гений более воздушный и беспредметный, он меньше приближается к земле, чем германский. Кельта часто называют чувственным; но его привлекают не столько вульгарные удовлетворения чувств, сколько эмоции и волнение; он действительно, как я уже говорил, сентиментален.

Сентиментальный, всегда *готовый к реакции против деспотизма фактов*; так описывает кельта его большой друг[85]; и это не плохое описание сентиментального темперамента; оно позволяет нам понять тайну его опасностей и привычного стремления к успеху. Уравновешенность, мера и терпение - вот вечные условия успеха, даже при самом счастливом темпераменте; а уравновешенность, мера и терпение - это как раз то, чего у кельта никогда не было. Даже в мире духовного творчества он никогда, несмотря на свои восхитительные дары быстрого восприятия и горячих эмоций, не преуспел в совершенстве, потому что у него никогда не было устойчивости, терпения, здравомыслия, достаточных для соблюдения условий, при которых только и можно в совершенстве выразить самые тонкие восприятия и эмоции. У грека такой же восприимчивый, эмоциональный темперамент, как и у кельта; но он добавляет к этому темпераменту чувство *меры*; отсюда его восхитительные успехи в пластических искусствах, в которых кельтский гений, с его борьбой с деспотизмом фактов, с его вечным стремлением к простым эмоциям, не добился ничего. В сравнительно мелком искусстве орнаментации, в кольцах, брошах, посохах, футлярах для реликвий и так далее, он сделал достаточно, чтобы показать свой тонкий вкус, свой счастливый темперамент; но грандиозные трудности живописи и скульптуры, длительное взаимодействие духа с материей, у него никогда не было терпения. Возьмем более духовные искусства - музыку и поэзию. Все, что только эмоции могут сделать в музыке, сделал кельт; сама душа эмоций дышит в шотландских и ирландских песнях; но при всей этой силе музыкального чувства, что сделал в музыке кельт, столь жаждущий эмоций, что у него нет терпения для науки, чтобы сравниться с тем, что сделал менее эмоциональный немец, неуклонно развивающий свое музыкальное чувство с помощью науки Себастьяна Баха или Бетховена? В поэзии - поэзии, которую кельт так страстно, так благородно любил; поэзии, где эмоции имеют большое значение, но где разум тоже имеет значение, разум, мера, здравомыслие, - кельт проявил гений, действительно, великолепный гений; но даже здесь его недостатки цеплялись за него и мешали ему создавать великие произведения, такие, какие создавали другие народы с гением поэзии, - греки, скажем, или итальянцы. Кельт не создавал великих поэтических произведений, он лишь создавал поэзию с налетом величия, иногда придавая коротким произведениям или отрывкам, строкам и фрагментам длинных произведений необыкновенную красоту и силу. И все же он так любил поэзию, что не жалел для нее ничего; но истинное искусство, *архитектоника*, которая формирует великие произведения, такие как "*Агамемнон*" или "*Божественная комедия*", приходит только после постоянного, глубокого исследования, твердого представления о фактах человеческой жизни, на что у кельта не хватает терпения. Поэтому он бежит в технику, где применяет максимальную разработку и достигает поразительного мастерства; но в содержании его поэзии есть только столько толкования мира, сколько может дать первый рывок быстрого,

сильного восприятия, а затем сентиментальность, бесконечная сентиментальность. И здесь недостаток здравомыслия и непоколебимости удержал кельта от наивысшего успеха.

Если его бунт против фактов так подкосил кельта даже в духовной работе, то насколько же сильнее он должен был подкосить его в мире бизнеса и политики! Умелое и решительное использование средств для достижения целей, необходимое как для прогресса в материальной цивилизации, так и для формирования могущественных государств, - это как раз то, к чему кельт менее всего способен. Он чувственен, как я уже говорил, или, по крайней мере, чувственен; любит яркие цвета, компании и удовольствия; и здесь он похож на греческую и латинскую расы; но сравните талант греческой и латинской (или латинизированной) рас к удовлетворению своих чувств, к внешней жизни, богатой, роскошной, великолепной, с неспособностью кельта достичь какой-либо материальной цивилизации, нормальной и удовлетворительной, а не нищей, неряшливой и полуварварской. Чувственность грека создала Сибарис и Коринф, чувственность латинянина - Рим и Байи, чувственность латинизированного француза - Париж; чувственность собственно кельта - Ирландию. Даже в его идеальные героические времена его чувственная натура не может перенести его в любимую жизнь, полную общения и удовольствий, за пределы грубого и ползучего сакса, которого он презирает; регент Бреас, как нам рассказывают в *битве при Мойтуре с фоморами*, стал непопулярен, потому что "ножи его людей не были смазаны за его столом, и их дыхание не пахло элем на пиру". В своей грубости и варварстве не является ли сакс, настолько саксом, насколько он может быть саксом? Именно то, что латинизированный норманн, чувственный и общительный, как кельт, но обладающий талантом превращать эту свою склонность в практическое украшение своего образа жизни, находил таким отвратительным в саксе.

И как в материальной цивилизации он был неэффективен, так и кельт был неэффективен в политике. Этот колоссальный, стремительный, авантюрный скиталец, титан раннего мира, который в первобытные времена занимал такое большое место на земной сцене, с течением истории все уменьшался и уменьшался и, наконец, уменьшился до того, каким мы видим его сейчас. На протяжении веков мир постоянно ускользал, все больше и больше выходя из-под контроля кельтов. "Они шли на войну, - правдиво говорит Оссиан, - но всегда падали".

И все же, если взяться за создание идеального гения, как много кельта приходится в него вкладывать! Идеальный гений не хочет, чтобы элементы, любой из них, находились в состоянии слабости; напротив, он хочет, чтобы все они были в состоянии наивысшей силы, но с законом меры, гармонии, руководящим всем. Поэтому чувствительность кельта, если бы все остальное не было принесено ей в жертву, является прекрасной и восхитительной силой. Ведь чувствительность, способность к быстрому и сильному восприятию и эмоциям, - одна из главных составляющих гения, возможно, самая положительная его составляющая; она для души то же, что хорошие чувства для тела, великое естественное условие успешной деятельности. Чувствительность дает гению его материалы; ее не может быть слишком много, если только можно оставаться ее хозяином и не быть ее рабом. Пусть нам не хотелось бы, чтобы у кельта было меньше чувствительности, но чтобы он больше владел ею. Даже если чувствительность и была для него источником слабости, она была и источником силы, и источником счастья. Некоторые люди находят в кельтской природе и ее чувствительности главный корень, из которого проистекают рыцарство, романтика и прославление женского идеала; это большой вопрос, которым я не могу здесь заниматься. Позвольте мне, однако, заметить мимоходом, что в экстравагантности рыцарства, его реакции против деспотизма фактов, его напряжении человеческой природы больше, чем она может выдержать, действительно есть кельтская атмосфера. Но если оставить в стороне вопрос о рыцарстве и

его происхождении, то, несомненно, чувствительность кельтской природы, ее нервная экзальтация несут в себе что-то женское, а кельт, таким образом, особенно расположен чувствовать чары женской идиосинкразии; он имеет с ней сродство; он недалек от ее тайны. Опять же, его чувствительность дает ему особенно близкое и интимное ощущение природы и жизни природы; и здесь его, кажется, особым образом привлекает тайна, лежащая перед ним, тайна природной красоты и природной магии, и быть близким к ней, полубожественным к ней. В произведениях кельтского гения, пожалуй, ничто не представляет такого интереса, как свидетельства этой силы: у меня еще будет случай привести их образцы. Та же самая чувствительность сделала кельтов полными благоговения и энтузиазма перед гением, образованием и предметами разума; *быть бардом, освобожденным человеком* - вот характерный штрих этого их великодушного и облагораживающего пыла, который ни одна раса никогда не проявляла сильнее. Даже в экстравагантности и преувеличении сентиментальной кельтской природы часто есть что-то романтическое и привлекательное, что-то, что имеет своего рода привкус неправильно направленного добра. Кельт, недисциплинированный, анархичный и буйный по своей природе, но из любви и восхищения отдающий себя душой и телом какому-то вождю, - это не перспективный политический темперамент, он прямо противоположен англосаксонскому, дисциплинированному и неуклонно послушному в определенных пределах, но сохраняющему неотъемлемую часть свободы и самостоятельности; но это темперамент, к которому, тем не менее, можно испытывать некую симпатию. И очень часто к этой вызывающей реакции против фактов живой кельтской природы испытываешь не просто симпатию; несмотря на экстравагантность, несмотря на неодобрение здравого смысла, она притягивает и возбуждает. У галлов существовало правило, согласно которому каждый воин, появившийся на параде, подвергался штрафу за то, что слишком сильно выпирал вперед, - короче говоря, был полнотелым. Такое правило, несомненно, является самой безумной военной статьей из когда-либо созданных, и людям, которых природа наделила большим объемом кишечника, оно, несомненно, должно казаться ужасным; но все же разве нет в нем дерзкой, искрящейся, нематериальной манеры, которая выводит человека из рутины и поднимает его настроение?

Все тенденции человеческой природы сами по себе жизненно важны и полезны; когда их порицают, то порицают лишь относительно, а не абсолютно. Это относится как к флегме саксонца, так и к чувствам кельта. Из устойчивых привычек ползучего сакса, как называет его кельт, - из его манеры держаться у земли - возник, несомненно, филистерство, это растение, по сути своей германское, процветающее со своими подлинными признаками только в немецком отечестве, Великобритании и ее колониях и Соединенных Штатах Америки; но какая добрая душа есть в самом филистерстве! И эту добрую душу я, которого часто считают смертельным врагом филистерства только потому, что я не желаю, чтобы у него все было по-своему, лелею как никто другой. Эта неуклонная привычка, как я уже говорил, в конце концов приводит к науке, к постижению и интерпретации мира. У нас в Великобритании, правда, она, кажется, не заходит так далеко; только в Германии, где привычка более несмешанная, она может привести к науке. У нас же в определенный момент она, кажется, наталкивается на противоборствующую силу, которая сдерживает ее и не дает ей продвинуться к науке; но до достижения этой точки каких только завоеваний она не завоевала! И тем более, пожалуй, что она остановилась на этой точке, потратив свои усилия в ограниченном поле, в поле простого смысла, прямой практической пользы. Как она повысила комфорт и удобство нашей жизни! Двери, которые открываются, окна, которые закрываются, замки, которые поворачиваются, бритвы, которые бреют, пальто, которые носят, часы, которые идут, и еще тысяча подобных вещей - это изобретение филистимлян.

Итак, если в нашей расе и есть смешение, то это два очень непохожих элемента: устойчивый саксонский темперамент и sentimentalный кельтский темперамент. Но прежде чем мы перейдем к попыткам проверить в нашей жизни и литературе предполагаемый факт этого смешения, нам необходимо принять во внимание еще один элемент - нормандский. Критик из *"Saturday Review"*, которого я уже цитировал, говорит, что, ища следы норманизма в нашем национальном гении, как и ища следы кельтизма в нем, мы только теряем свой труд; он говорит, что, действительно, в первоначальном формировании нашей нации было гораздо больше нормандского элемента, чем кельтского, но он утверждает, что оба элемента теперь настолько полностью исчезли, что напрасно искать следы любого из них в современном англичанине. Но такого рода утверждения я не хочу принимать, не попробовав их немного. Поэтому я хочу получить некоторое ясное представление о привычках и гении норманнов, как я пытался получить некоторое ясное представление о саксах и кельтах. Кто-то скажет, что норманны - тевтонцы, а значит, отличительные черты германского гения должны быть присущи и их гению; но этот вопрос не может быть решен так быстро. Несомненно, в основе норманнской расы лежат тевтонские корни; но определяющим моментом в истории норманнской расы, - по крайней мере, в той мере, в какой мы, англичане, имеем к ней отношение, - является не ее тевтонское происхождение, а ее латинская цивилизация. Французский народ, как я уже отмечал, имеет, несомненно, кельтскую основу, но столь решающее влияние на привычки и характер нации может оказать контакт с более сильной цивилизацией, что Галлия, не изменив основы своей крови, стала, для всех практических намерений и целей, латинской страной, Францией, а не Ирландией, в результате римского завоевания. Латинизм победил в ней кельтизм, как он победил и германизм, привнесенный франкскими и другими вторжениями; кельтизм, однако, не нужно говорить, что он все еще повсеместно проявляется во французской нации; даже германизм отчетливо прослеживается в ней, как увидит любой, кто внимательно сравнит французов с другими латинскими расами. Никто не может внимательно посмотреть на французские войска в Риме, среди итальянского населения, и не заметить этот след германизма; я имею в виду не только эльзасских солдат, но и солдат подлинной Франции. Но управляющий характер Франции как мировой державы - латинский; таково было влияние греческой и римской цивилизации на расу, вся масса которой оставалась кельтской, и где кельтский язык все еще сохранялся, как говорят, среди простого народа, в течение пяти или шести веков после римского завоевания. Но норманны в Нейстрии потеряли свой старый тевтонский язык в удивительно короткое время; когда они завоевали Англию, они уже были латинизированы; с ними было несколько французов по расе, людей из Анжу и Пуату, так что они принесли в Англию больше нетевтонской крови, помимо той, что они сами получили в результате межродовых браков, чем принято считать; однако важно то, что в результате цивилизации эта энергичная раса, когда она овладела Англией, стала латинской.

Эти норманны, которые в Нейстрии так быстро утратили свой старый тевтонский язык, сохраняли в Англии свой новый латинский язык в течение примерно трех столетий. Только в правление Эдуарда Третьего английский язык стал использоваться в судебных процессах и при дворе. Почему такая разница? И в Нейстрии, и в Англии норманны были горсткой; но в Нейстрии, как тевтоны, они контактировали с более развитой цивилизацией, чем их собственная; в Англии, как латиняне, - с менее развитой. Латинизированные норманны в Англии обладали чувством факта, которого не было у кельтов, и любовью к напряженности, четкости и быстроте, высоким латинским духом, которого не было у саксов. Они ненавидели медлительность и тупость ползучего сакса; она оскорбляла их ясный, напряженный талант к делам, как оскорбляла быстрое и тонкое восприятие кельта. Норманны обладали римским талантом к делам, римской решительностью в чрезвычайных ситуациях. Их называли прозаичными, но это не совсем верное слово для них; они не были ни sentimentalными, ни,

строго говоря, поэтичными. У них, как и у римлян, было больше смысла в риторике, чем в поэзии; но, как и у римлян, у них был слишком высокий дух, чтобы не любить благородные интеллектуальные стимулы, и таким образом они выходили из области простого прозаического. Их недостаток - плохой избыток характерного для них качества выносливости - не был прозаической плоскостью, это была черствость и наглость.

Мне пришлось проделать очень большой путь, но в конце концов я получил то, что искал. Я получил грубое, но, надеюсь, ясное представление об этих трех силах: германском гении, кельтском гении и норманнском гении. Германский гений имеет в своей основе постоянство, его недостатком является обыденность и рутина, а достоинством - верность природе. Кельтский гений - сентиментальность как главная основа, любовь к красоте, обаянию и духовности как превосходство, неэффективность и своеволие как недостаток. Нормандский гений, в основе которого лежит талант к делам, в превосходстве - упорство и четкая стремительность, в недостатках - твердость и наглость. А теперь попробуем проследить их в составном английском гении.

V.

Начнем с того, что является более внешним. Если мы такие англосаксы и германцы, как говорят люди, то как получилось, что привычки и походка немецкого языка так не похожи на наши? Почему в то время как *"Таймс"* говорит так: "В полдень длинная вереница карет протянулась от Пэлл-Мэлл до входа для пэров в Вестминстерский дворец", *"Кельнская газета"* говорит иначе: "Nachdem die Vorbereitungen zu dem auf dem GürzenichSaale zu Ebrenden Abgeordneten Statt findenden Bankette bereits vollständig getroffen worden waren, fand heute vormittag auf polizeiliche Anordnung die Schliessung sämtlicher Zugänge zum Gürzenich Statt"? [97] Конечно, умственные привычки людей, которые выражают свои мысли в столь разных манерах, один быстро, другой медленно, один просто, другой смущенно, один сбиваясь, другой шагая, не могут быть по сути одинаковыми. Английский язык, странное соединение, каким он является, с его отсутствием отклонений и со всеми трудностями, которые это отсутствие отклонений накладывает на него, все же сделал себя способным быть, в хороших руках, деловым инструментом, таким же готовым, прямым и ясным, как французский или латынь. И еще: пожалуй, ни одна нация после греков и римлян так ясно не ощутила, в чем состоит истинная риторика, риторика лучшего рода, и не достигла в этом такого высокого уровня совершенства, как англичане. Наше чувство риторики в какой-то мере навредило нам в развитии литературы, еще больше - в развитии науки; но в истинной сфере риторики, в публичных выступлениях, это чувство дало нам ораторов, о которых, как мне кажется, мы можем, не боясь быть опровергнутыми и обвиненными в слепом национальном тщеславии, утверждать, что они унаследовали великую греческую и римскую ораторскую традицию больше, чем ораторы любой другой страны. Страффорд, Болингброк, два Питта, Фокс, - не буду приводить других имен, - думаю, мало кто будет спорить, что они вызывают представление об ораторском искусстве, по виду, масштабам, силе приближающемуся к ораторскому искусству Греции и Рима больше, чем любое другое современное ораторское искусство. А сходство духа нашей лучшей общественной жизни и величайших государственных деятелей с римскими часто поражало наблюдателей, как иностранных, так и английских. Так вот, немцы не только не проявили выдающихся способностей к риторике, как англичане, - этого и не следовало ожидать, поскольку наша общественная жизнь сделала так много для развития способностей такого рода, а общественная жизнь немцев сделала так мало, - но они, кажется, в необычайной степени лишены вообще каких-либо способностей к риторике. Возьмите речь с трона в Пруссии и

сравните ее с речью с трона в Англии. Конечно, не в тронных речах английская риторика или любая риторика показывает себя с лучшей стороны; их часто ругают, часто справедливо ругают; неудивительно, ведь эта форма сочинения сопряжена с очень серьезными трудностями. Но вот что следует отметить: речь с трона по сути своей относится к сфере риторики, именно чувство риторики должно определять ее тон и стиль, чтобы в ней всегда звучала определенная нота; в английской речи с трона, каковы бы ни были ее недостатки, эта риторическая нота всегда звучит и соблюдается; в прусской речи с трона - никогда. Английская речь с трона - это риторика; прусская речь - это полуразговор, тяжелый разговор и полуизлияния. Это, можно сказать, один случай; верно, но в одном таком случае наличие или отсутствие способностей к риторике проявляется в решающей степени. Так почему бы мне не сказать, что мы, англичане, получаем наше риторическое чувство от норманнского элемента в нас, - наш поворот к этому напряженному, прямому, высокодуховному ораторскому таланту - от влияния напряженных, прямых, высокодуховных норманнов? Образ жизни, институты, правительство и другие подобные причины, как мне скажут, достаточны для объяснения английского ораторского искусства. Образ жизни, институты, правительство, климат и прочее, - скажу это раз и навсегда, - будут способствовать или препятствовать развитию способностей, но сами по себе они не создадут их и не объяснят. С другой стороны, привычки и природный облик народа в значительной степени определяют его образ жизни, институты и правительство, и даже предписывают пределы, в которых влияние климата должно оказывать на него воздействие.

Однако в мои намерения не входит в этих заметках утверждать со всей определенностью, что та или иная часть наших способностей, недостатков и поведения обусловлена наличием в нас кельтского, германского или норманнского элемента. Чтобы установить это, мне потребуются гораздо более широкие рамки, а также знания, намного превышающие те, которыми я обладаю; все, что я делаю, - это указываю на определенные соответствия, еще, возможно, недостаточно наблюдаемые и учитываемые, которые, кажется, ведут к определенным выводам. Я хочу предложить более компетентным людям продолжить исследование до тех пор, пока не будет достигнуто полное доказательство, или, возможно, полное опровержение. Исходя из этого, я перехожу ко второму вопросу, несколько более тонкому и внутреннему, чем тот, с которого я начал. Всем известно, насколько преуспели в пластических искусствах греческая и латинская расы с их непосредственным восприятием видимого, осязаемого мира. Германцы с их искренней любовью к фактам и неуклонным стремлением к ним, верностью природе, тоже достигли больших успехов в этих искусствах; мало кто станет отрицать, что Альберт Дюрер и Рубенс, например, могут быть названы мастерами живописи, причем живописи высокого типа. Кельтские расы, с другой стороны, показали необычайную неспособность к пластическим искусствам; абстрактный, суровый характер друидической религии, ее работа с глазами разума, а не с глазами тела, отсутствие тщательно продуманных храмов и прекрасных идолов - все это с самого начала указывает на это; ее чувства не могут удовлетворить себя, не могут даже найти себе пристанище в цвете и форме; они тянутся к непроницаемому, идеальному. Лес деревьев и лес скал, а не тесаный брус и резные камни, отвечают его стремлению к чему-то, не поддающемуся ограничению или выражению. При такой тенденции кельтские расы, как я уже отмечал, неизбежно были почти бессильны в высших отраслях пластических искусств. Ирландия, породившая столько сильных духов, не произвела на свет ни одного великого скульптора или живописца. Перейдем к Англии. Неприспособленность к пластическому искусству поразительно уменьшается, как только в расе преобладает германский, а не кельтский элемент. И все же и в Англии, в английской расе, есть нечто, что, кажется, мешает нам достичь настоящего мастерства в пластических искусствах, как это сделали более несмешанные немецкие расы. Рейнольдс и Тернер - гениальные художники, кто бы сомневался? Но возьмите европейское

жюри, единственное компетентное жюри в таких случаях, и посмотрите, сможете ли вы добиться вердикта, дающего им звание мастеров, как это дается Рафаэлю и Корреджо, или Альберту Дюреру и Рубенсу. И обратите внимание, в чем наша английская пара преуспела, а в чем нет. Они не справляются с *архитектоникой*, с высочайшей силой композиции, с помощью которой живопись достигает самого крайнего, что ей дано достичь; высший вид композиции, высшее применение искусства живописи, они либо не пытаются, либо терпят в нем неудачу. Их недостаток, таким образом, на стороне искусства, пластического искусства. И им удается волшебство, красота, изящество, выражение почти невыразимого: в этом очарование детей Рейнольдса и морей Тернера; порыв выразить невыразимое заводит Тернера так далеко, что в конце концов увлекает его, и даже задолго до того, как он совсем увлекся, даже в произведениях, которые справедливо превозносят, можно увидеть клеймо, как говорят французы, сумасшествия. Превосходство, а значит, и успех - на стороне духа. Не похоже ли это на то, как если бы кельтский поток встретился с основным немецким течением в нас и придавал ему несколько иное направление, чем то, которое оно принимает естественным образом? В нас достаточно германизма, достаточно терпеливой любви к фактам и материи, чтобы мы пытались заниматься пластическими искусствами, и мы делаем в них гораздо больше, чем чистые кельтские расы; но в определенный момент вступает наш кельтизм с его любовью к эмоциям, чувствам, невыразимому, и дает нашим лучшим художникам уклон. И точка, в которой он появляется, - это как раз та критическая точка, с которой начинается расцвет искусства в его совершенстве; у нас много художников, которые вообще никогда не достигают этой точки, но всегда остаются простыми подмастерьями, в рабстве у материи; те же, кто достигает ее, вместо того чтобы идти к истинному завершению мастеров живописи, немного перевешивают душу и чувство, работают слишком непосредственно для них, и поэтому не получают от своего искусства всего, что можно получить от него.

Та же модификация нашего германизма другой силой, которая кажется кельтской, видна и в нашей религии. Здесь также можно проследить градацию между кельтом, англичанином и немцем, причем разница, которая отличает англичанина от немца, объясняется наличием в нас кельтского элемента. Германия - страна экзегезы, Англия - страна пуританства. Религия Уэльса более эмоциональна и сентиментальна, чем английское пуританство; романизм действительно уступил место кальвинизму среди валлийцев, - одно суеверие вытеснило другое, - но кельтские чувства, которые сделали валлийцев такими набожными католиками, остались и придают силу их методизму; это не противоречивая, рационалистическая, интеллектуальная сторона протестантизма, а набожная, эмоциональная, религиозная сторона. Среди немцев протестантизм перешел в рационализм и науку. Англичане занимают среднее место между немцами и валлийцами; их религия имеет внешние формы и аппарат рационализма, пока их германская природа несет их; но задолго до того, как они доходят до науки, их чувство, их кельтский элемент подхватывает их, и обращает их религию к благочестию и благодати. Таким образом, английский протестантизм имеет внешнюю видимость интеллектуальной системы, а внутреннюю реальность эмоциональной системы: это придает ему стойкость и силу, так как то, чего придерживаются с пылкой привязанностью чувства, считается, что в то же время имеет научное доказательство разума. Английский пуританин, таким образом (а пуританизм - характерная форма английского протестантизма), стоит между немецким протестантом и кельтским методистом; его реальное родство в настоящее время скорее с валлийским родственником, если его можно назвать родственником, чем с немецким.

Иногда возникает сомнение, откуда берется сдерживание и ограничение германизма в нас - из кельтского или нормандского источника. Как я уже отмечал, бичом истинной устойчивой

немецкой натуры является плоская обыденность; кажется, нет конца ее способности к банальности; у нее нет ни быстрого восприятия кельта, чтобы спасти ее от банальности, ни стойкости норманна; она лишь постепенно поднимается из нее наукой, но сначала она бежит трусцой через почти бесконечные банальности. Английская природа не возвышается до науки, но что-то в нас, будь то кельты или норманны, похоже, ставит предел нашему продвижению в банальности, заставляет нас либо стесняться банальности, либо нетерпеливо ждать ее. Я открываю английскую книгу для чтения детям и нахожу в ней две характерные истории, одна из которых английская, другая немецкая. Возьмем сначала английскую историю.

Маленький мальчик сопровождал свою старшую сестру, пока она была занята работой на ферме, задавая вопросы на каждом шагу и усваивая уроки жизни, сам того не осознавая.

"Почему, дорогая Джейн, - спросил он, - ты разбрасываешь по земле хорошее зерно; не лучше ли сделать из него хороший хлеб, чем бросать его жадным цыплятам?"

"Со временем, - ответила Джейн, - цыплята вырастут большими, и каждый из них будет приносить деньги на рынке. Нужно думать о цели, которую можно достичь, не считаясь с трудностями, и научиться ждать".

Увидев жеребенка, который с нетерпением смотрел на него, мальчик воскликнул: "Джейн, почему этот жеребенок не в поле с рабочими, не помогает запрягать телеги?"

"Жеребенок еще мал, - ответила Джейн, - и он должен лежать без дела, пока не наберется сил; нельзя жертвовать будущим ради настоящего".

Читатель скажет, что это самая подлая и банальная вещь, вульгарная английская натура в полной силе; просто такая пища, какую филистимлянин, естественно, предоставил бы своему потомству. Он скажет, что видит, как мальчик, вскормленный этим, вырастает таким же, как его отец, становится всецело деловым, презирает культуру, проходит через свои скучные дни и умирает, так и не пожив. Возможно, это и так; но теперь возьмите немецкую историю (одну из историй Кrumмахера) и посмотрите, в чем разница:...

При дворе царя Ирода жил богатый человек, который был царским камергером. Он одевался в пурпур и виссон и был похож на самого царя.

Однажды друг его юности, которого он не видел много лет, приехал из дальних краев, чтобы навестить его. Тогда камергер созвал всех своих друзей и устроил пир в честь незнакомца.

Столы были накрыты отменными яствами, расставленными на золотых и серебряных блюдах, и лучшими винами всех сортов. Богач сел во главе стола, радуясь возможности оказать честь своему другу, сидевшему по правую руку от него. Они ели и пили, и веселились.

Тогда незнакомец сказал камергеру царя Ирода: "Такого богатства и великолепия, как у тебя, нет нигде в моей стране". И он восхвалял его величие и называл его счастливее всех людей на земле.

Богач взял яблоко из золотого сосуда. Яблоко было большое, красное и приятное на вид. Тогда сказал он: "Вот, это яблоко лежит на золоте, и форма его очень красива". И он подарил его незнакомцу, другу своей юности. Незнакомец разрезал яблоко на две части, и вот, в середине его сидел червяк!

Тогда незнакомец посмотрел на камергера; а камергер склонил глаза свои к земле и вздохнул".

На этом все заканчивается. Теперь я скажу, что перед нами разверзлась бездна банальности, и в ней спокойно плавает немецкая природа, которая, похоже, тем или иным образом отгородила вход для английской природы. Английская история ведет прямым путем в практическую жизнь: узкую и сухую, конечно, но все же достаточную для того, чтобы дать простой мотив для рассказа; немецкая же история не ведет никуда, кроме как в батос. Скажем ли мы, что здесь нас спасает норманнский талант к делам или кельтский пронизывающий инстинкт? Одно из них, несомненно, должно быть. Нормандский поворот кажется наиболее уместным в данном случае; с другой стороны, кельтский поворот, или некоторая его степень, некоторая степень его быстрого пронизывающего инстинкта, кажется необходимым для объяснения полного различия между немецкой природой и нашей. Даже у гениальных или талантливых немцев отсутствие быстрого легкого такта, инстинктивного восприятия неуместности или невозможности некоторых вещей, является необычайно примечательным. Внушительное открытие герра Гервинуса о том, что Гендель - англичанин, а Шакспир - немец, невероятное гнездо кобылиц, в которое попадает Гете, когда ищет происхождение байроновского "Манфреда", - это вещи, от которых не может спасти человека ни сознательная осторожность, ни размышления; от них может спасти только инстинкт, инстинкт, что они абсурдны; кто может представить себе Чарльза Лэмба, совершившего ошибку герра Гервинуса, или Шакспира, совершившего ошибку Гете? Но от самой немецкой природы этот интуитивный такт кажется чем-то настолько чуждым, что даже гений не в состоянии его дать. И все же именно то, что составляет особую силу и гений в человеке, часто кажется его смешением с основой его национального темперамента, каким-то дополнительным даром или благодатью, не свойственной этому темпераменту; величие Шекспира, таким образом, в его смешении открытости и гибкости духа, не английского, с английской основой; Аддисона, в его смешении умеренности и деликатности, не английского, с английской основой; Берка, в его смешении широты взгляда и богатства мысли, не английского, с английской основой. В самой Германии, точно так же, величие их великого Фредерика заключается в том, что он соединил быстроту и четкость, не немецкую, с немецкой основой; величие Гете - в том, что он соединил любовь к форме, благородство и достоинство, - великий стиль, - с немецкой основой. Но быстрое, верное, инстинктивное восприятие несочетаемого и абсурдного не дано в Германии даже гению; по крайней мере, я могу назвать только одного гениального немца, Лессинга (ибо Гейне был евреем, а еврейский темперамент совсем не похож на немецкий), который проявляет его в выдающейся степени.

Если мы внимательно присмотримся к терминам, с помощью которых иностранцы пытаются отбить впечатление, производимое на них нами и немцами, то обнаружим в них разницу, которая, как мне кажется, свидетельствует в пользу выдвигаемой мною концепции. Все мы знаем, что нации, когда они описывают характеры друг друга, склонны скорее ухватить нелестную сторону, чем лестную; масса людей всегда так поступает, и они действительно видят то новое, что не является их собственным, в обезображивающем свете. Так, например, мы сами часто говорим "флегматичный голландец", а не "разумный голландец", или "гримасничающий француз", а не "вежливый француз". Поэтому ни мы, ни немцы не должны в точности принимать описание, которое дают нам незнакомцы, но для моей цели достаточно того, что незнакомцы, характеризуя нас с определенным оттенком различия, во всяком случае, дают понять, что этот оттенок есть, хотя сам характер, который они дают нам обоим, может быть скорее карикатурой, чем верным изображением нас. Теперь следует заметить, что эти острые наблюдатели, французы, - которые обладают двойной способностью к острому наблюдению, поскольку у них есть и быстрое восприятие кельта, и дар латинянина точно подмечать факт, - следует заметить, говорю я, что французы проводят любопытное различие в своем популярном, обесценивающем, мы будем надеяться,

неадекватном, способе поражения нас и немцев. В то время как они говорят об "аллемандской *бестии*", они говорят об "англиканской *бестактности*"; в то время как они говорят об "аллемандском *лысом*", они говорят об "англиканском *пустом*"; в то время как они называют немца "*niais*", они называют англичанина "*mélancolique*". Разница между эпитетами *balourd* и *empêtré* точно указывает на разницу в характере, которую я хочу уловить; *balourd* означает тяжелый и скучный, *empêtré* - затрудненный и смущенный. Это указывает на определенное смешение и борьбу элементов в англичанине; на столкновение кельтской быстроты восприятия с германским инстинктом идти уверенно, близко к земле. Кельт, как мы видели, несмотря на быстроту восприятия, вовсе не обладает латинским талантом работать с фактом, ловко управлять им и делать себя его хозяином; латиняне или латинизированные люди испытывали к нему презрение по этому поводу, относились к нему как к бедному существу, так же как и к немцу, который приходит к факту не так, как латиняне, но приходит к нему. Куплет Хрестиана из Труа о валлийцах: - ...

. . . Gallois sont tous, par nature,
Plus fous que bêtes en pâture-

хорошо известна и выражает подлинный вердикт латинского ума о кельтах. Но пронизательный инстинкт кельта чувствует и предвидит, хотя в нем и есть то, что отрезает его от владения миром фактов; он видит то, что ему не нужно, достаточно хорошо; его простой глаз не менее острый, а может быть, и более острый, чем у латинянина. Он - быстрый гений, сдерживаемый недостатком упорства или терпения. Немец не обладает латинским острым точным взглядом на мир фактов и ловким поведением в нем; он много и долго возится с ним, но его честность и терпение дают ему в конечном счете правило, - более надежное правило, как думают некоторые из нас, чем у латинца; и все же его поведение в нем не быстрое и не ловкое. Англичанин, в той мере, в какой он немец, - а он в основном немец, - действует в устойчивой немецкой манере; если бы он был полностью немцем, то действовал бы так всегда, не стесняясь и не смущаясь; но в той мере, в какой он кельт, у него есть проблески быстрого инстинкта, которые часто заставляют его чувствовать, что он путается, показывают ему видения более легкого, более ловкого поведения, смущают его и наполняют его опасениями. Поэтому ни один народ не бывает таким застенчивым, таким застенчивым, таким смущенным, как англичане, потому что в них смешаны две натуры, и натуры, которые тянут их в разные стороны. Германская часть, конечно, торжествует в нас, мы - германский народ; но не настолько, чтобы исключить призраки кельтизма, которые сталкиваются с нашим германизмом, порождая, как я полагаю, наш *юмор*, ни германский, ни кельтский, и так влияют на нас, что мы поражаем людей как странные и необычные, не поддающиеся никакому известному типу и не похожие ни на что, кроме самих себя. "Почти каждый англичанин, - пишет замечательный и отнюдь не недоброжелательный наблюдатель Жорж Санд, - почти каждый англичанин, как бы хорош он ни был, всегда имеет в себе нечто необычное, что легко может показаться комичным; своего рода типичная неловкость (*gaucherie typique*) в его внешности или облике, которая почти никогда не изживается". Я говорю, что эта странность объясняется тем, что английская природа, как мы видели, смешанная, в то время как латинская природа цельная, как и немецкая, и кельтская.

Невозможно двигаться очень быстро, когда материя, с которой приходится иметь дело, не только новая и малоизученная, но и по своей природе настолько тонкая, что ускользает от понимания, если не обращаться с ней со всей возможной деликатностью и осторожностью. Именно в нашей поэзии кельтская часть в нас оставила свой след наиболее ярко, и в нашей поэзии я должен следовать за ней, пока не сделал этого.

VI.

Если бы меня спросили, откуда английская поэзия взяла эти три вещи, ее поворот к стилю, ее поворот к меланхолии и ее поворот к естественной магии, к улавливанию и передаче очарования природы удивительно близким и ярким способом, - я бы ответил, с некоторым сомнением, что она получила большую часть своего поворота к стилю из кельтского источника; с меньшим сомнением, что она получила большую часть своей меланхолии из кельтского источника; без сомнения, что из кельтского источника она получила почти всю свою естественную магию.

Любой немец, обладающий проницательностью и тактом в вопросах литературной критики, признает, что главный недостаток немецкой поэзии заключается в стиле; что для стиля, в самом высоком смысле этого слова, в ней мало чувства. Возьмем выдающихся мастеров стиля, поэтов, которые лучше всего дают представление о том, что такое особая сила, заключенная в стиле, - Пиндар, Вергилий, Данте, Мильтон. Пример особого эффекта, который производят эти поэты, вы вряд ли сможете привести из немецкой поэзии. Из немецкой поэзии можно привести достаточно примеров того, как гений, мысль и чувство выражают себя ясным языком, простым языком, страстным языком, красноречивым языком, с гармонией и мелодией, но не того особого эффекта, который производит выдающаяся сила стиля. Каждый читатель Данте может сразу вспомнить, что за особый эффект я имею в виду; я говорил о нем в своих лекциях по переводу Гомера и приводил пример из Данте, который, возможно, проявляет его более ярко, чем любой другой поэт. Но и у Мильтона можно в изобилии почерпнуть примеры этого эффекта; сравните вот это из Мильтона:...

. ...не забывая порой
Двух других, равных мне по судьбе,
Так же как и я был равен им в славе,
Слепой Тамирис и слепой Меонид...

А вот это из Гете: -

Es bildet ein Talent sich in der Stille,
Sich ein Character in dem Strom der Welt.

Ничто не может быть лучше стиля, в котором Гете излагает свою мысль, но это стиль прозы в той же мере, что и поэзии; он ясен, гармоничен, искренен, красноречив, но он не получил того своеобразного замешивания, усиления и переливки, которые можно наблюдать в стиле отрывка из Мильтона, - стиля, который, кажется, имеет своей причиной определенный напор эмоций и постоянно бурлящее, но сдерживаемое волнение поэта, придающее особую интенсивность его манере доносить себя. В поэтических расах и эпохах этот поворот к стилю особенно заметен; и, возможно, только при условии наличия этой несколько повышенной и сложной манеры, столь отличной от простой манеры прозы, поэзия получает привилегию в свои лучшие моменты быть раскрепощенной в том совершенно простом, прозрачном стиле, который является высшим стилем из всех, но простота которого все же не является простотой прозы. Простота стиля Менандра - это простота прозы, и это та же самая простота, которую демонстрирует стиль Гете в процитированном мною отрывке; но Менандр не принадлежит к великому поэтическому моменту, он пришел слишком поздно для него; именно простые отрывки у таких поэтов, как Пиндар или Данте, являются совершенными, будучи шедеврами *поэтической* простоты. То же самое можно сказать и о простых отрывках Шекспира; они совершенны, их простота - *это поэтическая* простота. Они - золотые, легкие, венчающие моменты манеры, которая всегда звучит в другом ключе, чем проза;

манеры измененной и возвышенной; елизаветинский стиль, царящий в большинстве наших драматических стихов по сей день, в основном является продолжением этой манеры Шекспира. Это была манера, гораздо более мутная и усеянная недостатками, чем манера Пиндара, Данте или Мильтона; часто она была отвратительна; но она была обязана своим существованием инстинктивному импульсу Шекспира к *стилю* в поэзии, его врожденному чувству необходимости его; и без основы стиля повсюду, пусть и в некоторых местах несовершенной, мы не имели бы той красоты выражения, непревзойденной по эффективности и очарованию, которая достигается в лучших отрывках Шекспира. Поворот к стилю прослеживается во всей английской поэзии, доказывая, на мой взгляд, подлинный поэтический дар расы; этот поворот придает нашей поэзии печать высокого отличия, а иногда он удваивает силу поэта, не принадлежащего от природы к высшему разряду, например Грея, и возводит его в ранг, превышающий то, что, казалось бы, сулят его природное богатство и сила. Гете с его тонким критическим восприятием достаточно ясно видел как силу стиля самого по себе, так и отсутствие стиля в литературе своей страны; и, возможно, если рассматривать его исключительно как немца, а не как европейца, его великое дело заключалось в том, что он всю жизнь трудился над тем, чтобы привнести стиль в немецкую литературу и прочно утвердить его там. Отсюда огромное значение для него мира классического искусства и произведений греческого или латинского гения, где стиль так ярко проявляет свою силу. Если бы он нашел в немецком гении и литературе элемент стиля, существующий от природы и готовый к его руке, половина его работы, можно сказать, была бы спасена, и он мог бы сделать гораздо больше в поэзии. Но как бы то ни было, он должен был попытаться создать из своих собственных сил стиль немецкой поэзии, а также обеспечить содержание для этого стиля; таким образом, его труд как поэта был удвоен.

Следует заметить, что сила стиля, в том смысле, в котором я говорю о стиле, - это нечто совершенно иное, чем сила идиоматического, простого, нервного, яростного выражения, каким часто бывает выражение здоровых, крепких натур, каким в поразительной степени был Лютер. Стиль, в моем понимании этого слова, - это своеобразная переделка и усиление, при определенном состоянии духовного возбуждения, того, что человек хочет сказать, таким образом, чтобы придать этому достоинство и отличие; а достоинство и отличие - это не те термины, которые подходят ко многим поступкам или словам Лютера. Глубоко тронутый *Gemeinheit*, которая является бичом его нации, и в то же время являющийся ярким примером честности, которая является превосходством его нации, он редко может даже показать себя храбрым, решительным и правдивым, не демонстрируя при этом грубость и простоватость; правильное определение Лютера, как и нашего Буньяна, заключается в том, что он - филистер гения. Искренний идиоматический немецкий язык Лютера - вот он: "Hilf lieber Gott, wie manchen Jammer habe ich gesehen, dass der gemeine Mann doch so gar nichts weiss von der christlichen Lehre!" - не в большей степени доказывает силу стиля в немецкой литературе, чем злоеший идиоматический английский Коббетта доказывает ее в английской литературе. Сила стиля, так называемая, проявляющаяся у таких мастеров стиля, как Данте или Мильтон в поэзии, Цицерон, Боссюэ или Болингброк в прозе, - это нечто совершенно иное, и, как я уже говорил, ее характерный эффект заключается в том, чтобы добавлять достоинства и отличия.

Стиль, таким образом, у германцев отсутствует, и странно, что сила стиля должна проявляться так сильно, как в исландской поэзии, если скандинавы - настоящие тевтоны, как принято считать. Фориэль говорил о скандинавских тевтонах и германских тевтонах, как о двух разновидностях одного народа, и общее представление о них, несомненно, очень похоже на это. Однако со времен войны в Шлезвиг-Гольштейне все немецкие друзья с большим рвением настаивают на различии натуры между собой и скандинавами; когда кто-

нибудь выражает удивление, что немецкое чувство национальности должно быть так глубоко оскорблено господством над немцами не латинян или кельтов, а братьев-тевтонов или близких к ним, немец даст вам не знаю сколько длинный каталог коренных пунктов несходства, по гению и нравам, между собой и датчанином. Это позволяет мне заметить, что в исландской поэзии есть огонь, чувство стиля, различие, которых нет у немецкой поэзии. Исландская поэзия также демонстрирует мощную и развитую технику; и я хочу предложить на рассмотрение тем, кто компетентен в этом вопросе, предположение, что эта мощь стиля и развитие техники в норвежской поэзии, похоже, указывают на раннее кельтское влияние или смешение. Любопытно, что Цойс в своей грамматике приводит текст, который подтверждает это предположение; по его словам, уже в девятом веке в Исландии были ирландские кельты; и текст, который он приводит в доказательство этого, звучит так: "В 870 году н. э., когда норвежцы пришли в Исландию, там были христиане, которые ушли и оставили после себя ирландские книги, колокола и другие вещи; отсюда можно сделать вывод, что эти христиане были ирландцами". Я говорю, да и должен говорить, с величайшей осторожностью по всем этим вопросам этнологии; но должен сказать, что когда я прочитал этот текст в книге Цойса, я с жадностью ухватился за подсказку, которую он, казалось, предлагал; ибо я слышал, как *"Нибелунгов"* читают и комментируют в немецких школах (в немецких школах есть хорошая привычка читать и комментировать немецкую поэзию, как мы читаем и комментируем Гомера и Вергилия, но не читаем и не комментируем Чосера и Шекспира), и меня поразило, как роковая скромность и отсутствие стиля у немцев омрачили их способ рассказывать эту великолепную традицию *"Нибелунгов"* и лишили ее половины величия и силы; В то время как в исландских поэмах, посвященных этой традиции, ее величие и мощь видны гораздо полнее, и повсюду в поэзии Эдды есть сила стиля и различие, настолько непохожие, насколько это возможно, на отсутствие того и другого в немецких *"Нибелунгах"*. [120] В то же время скандинавы обладают реализмом, как его называют, в своем гении, который в изобилии доказывает их родство с германцами; любой, кого восхитительные книги мистера Дасента познакомили с прозаическими рассказами норманнов, будет поражен печатью тевтонской природы в них; но норвежская поэзия, кажется, имеет нечто, что только из тевтонских источников она не могла получить; чего нет у германцев, и что есть у кельтов.

Это нечто - *стиль*, и у кельтов он, несомненно, в превосходной степени. Стиль - самое поразительное качество их поэзии. Кельтская поэзия, кажется, компенсирует себе неспособность овладеть миром и дать ему адекватное толкование, бросая всю свою силу в стиль, пригибая язык к своей воле и выражая идеи, которые у нее есть, с непревзойденной интенсивностью, возвышенностью и эффектом. В ней присутствует некое опьянение стилем, *пиндаризм*, если воспользоваться словом, образованным от имени поэта, на которого, как кажется, сила стиля оказала вдохновляющее и опьяняющее воздействие; и не только в великих поэтах, в Талиесине, Лливвархе Хене или Оссиане, кельтский гений проявляет этот пиндаризм, но и во всех своих произведениях:...

Вот могила Марча, а вот могила Гвитири;
Вот могила Гвгауна Гледдифрейда;
Но неизвестна могила Артура.

Это из валлийских *"Мемориалов могил воинов"*, и если мы сравним их с привычными мемориальными надписями на английском церковном дворе (ведь в нас, англичанах, так много германизма, что в наших произведениях можно найти множество примеров как немецкого стиля, так и его противоположности), то скажем следующее

Болезни долго я терпел,
Лекари были тщетны,

Пока Богу не было угодно, чтобы смерть меня взяла
И облегчить мне боль.

Если мы сравним валлийские мемориальные строки с английскими, которые по своему стилю (*Gemeinheit*) являются истинно германскими, мы получим ясное представление о том, что такое кельтский талант к стилю, о котором я говорил.

Или возьмем эпитафию ирландского кельта Ангуса Кулди, чей *Фелире*, или фестологию, я уже упоминал; фестологию, в которой в конце восьмого или начале девятого века он собрал из "бесчисленного множества иллюминированных книг Эрина" (по его собственным словам) праздники ирландских святых, причем в его поэме есть строфа для каждого дня в году. Эпитафия Ангусу, умершему в Клуайн-Эйднех, в графстве Квинс, гласит: "Ангус в собрании Небес".

Ангус в собрании небесном,
Здесь его могила и его кровать;
Отсюда он отправился на смерть,
В пятницу, на святые небеса.

В Клуайн Эйднех он был отвоёван;
В Клуайн Эйднех он был похоронен;
В Клуайн Эйднех, у многих крестов,
Он впервые прочитал свои псалмы.

Эта надпись написана отнюдь не выдающейся рукой; и все же греческая эпитафия не могла бы продемонстрировать более тонкое восприятие того, что составляет пристойность и изящество стиля в композициях такого рода. Возьмем известное валлийское пророчество о судьбе бриттов: -

Their Lord they will praise,
И речь свою они сохраняют,
Их землю они потеряют,
Кроме дикого Уэльса.

К какой бы поздней эпохе ни относилось это пророчество, но какое чувство стиля, во всяком случае, оно демонстрирует! То же самое можно сказать и о знаменитых валлийских триадах. Мы можем оставить в стороне все спорные вопросы об их большей или меньшей древности, и все же какое важное свидетельство они несут в себе о гении литературного стиля народа, который их создал!

Мы, англичане, несомненно, очень часто демонстрируем отсутствие чувства стиля у наших немецких сородичей. Строки из церковного двора, которые я только что процитировал, представляют собой один из примеров этого: но целая отрасль нашей литературы - и очень популярная отрасль, наша гимнология, - к которой относятся эти строки, является одним из постоянных примеров этого. Наши немецкие сородичи и мы - великий народ для гимнов. Немцы очень гордятся своими гимнами, а мы - своими; но трудно сказать, какой из них, немецкий сборник гимнов или наш, имеет наименьшую поэтическую ценность сам по себе или меньше всего доказывает подлинную поэтическую силу в людях, его создающих. Мне нечего сказать против выбора и расположения материалов для "*Книги хвалы*" сэра Раунделла Палмера; я готов поставить их в один ряд (а это значит - поставить их в самый высокий ранг) с выбором и расположением материалов для "*Золотой сокровищницы*" мистера Пэлгрейва;

но все же ни один здравый критик не может сомневаться в том, что в том, что касается поэзии, если "Золотая сокровищница" - памятник силы нации, то "Книга хвалы" - памятник слабости нации. Только немецкая раса, с ее недостатком быстрого инстинктивного такта, тонкого, верного восприятия, могла изобрести гимн в том виде, в каком он есть у немцев и у нас; и наша негерманская склонность к стилю, - стилю, суть которого заключается в некой счастливой тонкости и истинности поэтического восприятия, - не могла не покинуть нас, когда наша немецкая природа увлекла нас в такой вид композиции, который может радовать только при несколько тупом восприятии. Вряд ли кто-либо из нас когда-либо справедливо судит о наших гимнах, потому что у произведений такого рода есть две стороны - их сторона для религии и их сторона для поэзии. Все, что помогло человеку в его религиозной жизни, все, что ассоциируется в его сознании с ростом этой жизни, красиво и почитаемо для него; таким образом, произведения, не имеющие почти никакой поэтической ценности, как немецкие гимны и наши, могут считаться очень ценными. Их ценность в этом смысле, как средств нашего назидания, я ни на минуту не умаляю; но есть назидание, соответствующее всем ступеням нашего развития, как высшим, так и низшим, и человек должен продвигаться к высшим ступеням своего развития, будучи уверенным, что и для этих ступеней средства назидания не окажутся недостаточными. Безусловно, когда наше тонкое восприятие обострено, это более высокое состояние развития, чем когда оно тупое. И если - если семитский гений поместил свою высшую духовную жизнь в религиозное чувство и сделал его основой своей поэзии, - то индоевропейский гений помещает свою высшую духовную жизнь в образный разум и делает его основой своей поэзии, мы ничуть не лучше от того, что нам не хватает восприятия, чтобы различить естественный закон, который, в конце концов, как и всякий естественный закон, непреодолим; Мы ничуть не лучше от того, что пытаемся сделать себя семитскими, когда природа сделала нас индоевропейцами, и сместить основу нашей поэзии. Мы можем иметь хорошие намерения, с нами может происходить всевозможное добро на пути, по которому мы идем; но мы не на настоящем правильном пути, на пути, по которому мы должны в конце концов идти.

Вот почему, когда наши гимны выдают ложную тенденцию, теряя силу, которая сопровождает поэтическую работу нашей расы на других, более подходящих линиях, указание на это имеет для нас большую ценность и поучительность. Один из наших главных поэтических даров покидает нас в наших гимнах и таким образом дает нам намек на единственную истинную основу для духовной работы индоевропейского народа, которую немцы, не обладающие этим нашим особым даром, не получают и не могут получить таким образом, хотя они могут получить его в других. Стоит заметить, что шедеврами духовного творчества индоевропейцев, берущих за основу чистое религиозное чувство, а не образный рассудок, являются такие произведения, как *Imitation*, *Dies Iræ*, *Stabat Mater* - произведения, облеченные в латынь средних веков, подлинный родной голос ни одного индоевропейского народа. Совершенство своего рода, но этот род не вполне законен, они берут не вполне законный язык; как бы для того, чтобы показать, что когда семитская эпоха человечества будет однажды пройдена, эпоха, породившая великие несравненные памятники чистого религиозного чувства, книги Иова и Исаяи, Псалмы, - произведения, которые действительно можно назвать вдохновенными, потому что та же божественная сила, которая действовала в тех, кто их создал, больше не действует, - как бы для того, чтобы показать нам, что после этой первобытной эпохи мы, индоевропейцы, должны чувствовать эти произведения, не пытаясь их переделать; И что наша поэзия, если она пытается сделать себя просто органом религиозного чувства, отклоняется от истинного курса и должна скрывать это, не говоря на живом языке. В тот момент, когда она говорит на живом языке, но при этом делает себя органом только религиозного чувства, как в немецких и английских гимнах, она выдает слабость, слабость всех ложных тенденций.

Но если, обращая внимание на германизм в нас, англичанах, и на его произведения, кто-то сомневается, не являемся ли и мы чистыми немцами по гению и с немецкой мертвенностью стиля, достаточно повторить про себя строчку Мильтона - поэта, опьяненного страстью к стилю не меньше, чем Талиесин или Пиндар, - чтобы увидеть, что у нашего гения есть и другая сторона, помимо немецкой. Откуда он у нас? Норманны, возможно, привнесли в нашу жизнь латинское чувство риторики и стиля, - ибо, действительно, это чувство естественно сочетается с высоким духом и напряженностью, как у них, - но чувство стиля, которое демонстрирует английская поэзия, - это нечто более тонкое, чем мы могли бы получить от людей столь позитивных и столь мало поэтических, как норманны; и мне кажется, что мы можем гораздо более правдоподобно извлечь его из корня поэтической кельтской природы в нас.

Аккорд пронзительной страсти и меланхолии, опять же, *титанизм*, как мы видим его у Байрона, - какая еще европейская поэзия обладает этим, как английская, и откуда мы это берем? Кельты, с их яростной реакцией против деспотизма фактов, с их чувственной природой, их разнообразными стремлениями, их неблагоприятной судьбой, их огромными бедствиями, кельты - главные авторы этой жилки пронзительного сожаления и страсти, этого титанизма в поэзии. Знаменитая книга, "*Оссиан*" Макферсона, пронесла в прошлом веке эту жилу, как поток лавы, по Европе. Я не собираюсь здесь критиковать "*Оссиана*" Макферсона. Пусть в книге будет сколько угодно поддельного, современного, безвкусного, фальшивого; лишите Шотландию, если хотите, всех перьев, которые она, благодаря "*Оссиану*" Макферсона, могла украсть у этой *vetus et major Scotia*, истинной родины оссиановской поэзии, Ирландии; я не возражаю. Но в книге все равно останется остаток, в котором заключена сама душа кельтского гения, и которому принадлежит гордое отличие: он привел эту душу кельтского гения в соприкосновение с гением народов современной Европы и обогатил этим всю нашу поэзию". Лесной Морвен, и эхо Соры, и Сельма с ее молчаливыми залами - все мы в неоплатном долгу перед ними, и когда мы достаточно несправедливы, чтобы забыть об этом, пусть Муза забудет нас! Выберите любой из лучших отрывков в "*Оссиане*" Макферсона, и вы увидите даже в наше время, каким наваждением новизны и мощи должно было быть такое напряжение для восемнадцатого века:...

Я видел стены Балклута, но они были пустыни". Лиса выглядывала из окон, и трава стены развевалась вокруг ее головы. Поднимите траурную песнь, о барды, над землей чужаков. Они пали перед нами, но однажды падем и мы. Зачем ты построил этот зал, сын крылатых дней? Сегодня ты смотришь с башен своих; пройдет еще несколько лет, и придет ветер пустыни; он завывает в твоём пустом дворе и свистит вокруг твоего полуистлевшего щита. Пусть грянет ветер пустыни! Мы прославимся в свой день".

Вся Европа ощутила силу этой меланхолии; но я хочу отметить, что ни один народ Европы так не уловил в своей поэзии страстный пронзительный акцент кельтского гения, его титанизм, как англичане. Гете, как и Наполеон, очень сильно почувствовал на себе чары Оссиана, и он цитирует длинный отрывок из него в своем "*Вертере*". Но что кельтского, буйного и титанического в немецком Вертере, этом приятном, культурном и меланхоличном юноше, у которого причиной печали и самоубийства является совершенно определенный мотив, что Лотта не может быть его? В Фаусте же нет ничего безотчетного, вызывающего и титанического; его знания не приносят ему того удовлетворения, которого он ожидал от них, а между тем он беднеет, стареет и лишается ощутимого наслаждения жизнью; вот мотив недовольства Фауста. В самом энергичном и стремительном творении Гете - его *Прометее* - не кельтское своеволие и страсть, а германское чувство справедливости и разума восстает против деспотизма Зевса. Германский *Sehnsucht* - это тоскливая, мягкая, слезливая тоска, а

не борющаяся, яростная, страстная. Но кельтская меланхолия - это борьба, ярость, страсть; чтобы уловить ее ноту, послушайте, как Лливарх Хен в старости обращается к своему костылю: - О мой костыль!

О мой костыль! Не осень ли это, когда папоротник красен, а водяной флаг желт?
Разве не ненавижу я то, что люблю?

О мой костыль! Разве сейчас не зима, когда люди говорят друг с другом после
пьянки? Не опустел ли край моей постели?

О мой костыль! Разве не весна, когда кукушка пролетает в воздухе, когда пена
сверкает на море? Юные девы больше не любят меня.

О мой костыль! Разве это не первый день мая? Борозды, разве они не блестят;
молодая кукуруза, разве она не всходит? Ах! Вид твоей рукоятки приводит меня в
ярость.

О мой костыль! Встань прямо, ты будешь лучше поддерживать меня; Я давно не был
Лливархом.

Вот старость, которая насмехается надо мной, от волос на голове до зубов и глаз,
которые любили женщины.

Четыре вещи, которые я всю жизнь ненавидел больше всего, обрушились на меня
вместе: кашель и старость, болезнь и печаль.

Я стар, я одинок, форма и тепло ушли от меня; почетный диван больше не будет
моим: Я несчастен, я опираюсь на свой костыль.

Как зол был жребий, уготованный Лливарху, в ту ночь, когда он появился на свет!
Горести без конца, и нет избавления от бремени.

Вот титанизм кельта, его страстная, бурная, неукротимая реакция против деспотизма фактов;
и кого же он так напоминает нам, как не Байрона?

Огонь, что на грудь мою охотится
Одинок, как вулканический остров;
Ни один факел не горит в его пламени;
Похоронная груда!

Или, снова: -

Сосчитай радости, что видел ты в часы свои,
Считай дни, когда ты был свободен от мук,
И знай, кем бы ты ни был,
'Tis something better to be not to be.

Стоит только позволить своей памяти начать выуживать из Байрона отрывки, бьющие в ту же ноту, что и этот отрывок из Llywarch Hen, и она не скоро остановится. И все герои Байрона, не столько сталкивающиеся с внешними вещами, сколько разбивающиеся о скалы бунта и страданий в глубинах собственной натуры; Манфред, поглощенный собой, слепо и страстно сражающийся не знаю с чем, не имеющий ничего от последовательного развития и внятных мотивов Фауста, - Манфред, Лара, Каин, кто они, кроме Титаника? Где в европейской поэзии мы найдем эту кельтскую страсть бунта, столь теплодышащую, мощную и искреннюю; разве что в творчестве еще более великого поэта, чем Байрон, но тоже английского, как Байрон, - в "Сатане" Мильтона?

. . . Что, если поле будет потеряно?
Все не потеряно; непобедима воля,
И изучение мести, бессмертная ненависть,
И мужество не покориться и не сдаться,
И что еще не преодолено.

Вот, несомненно, говорит гений, в чьем творчестве кельтское начало было не совсем чужим!

И как, отметив кельтский пиндаризм или силу стиля, присутствующую в нашей поэзии, мы отметили германскую плоскостность, проступающую в наших гимнах, и нашли здесь доказательство нашей композиционной природы; так, отметив кельтский титанизм или силу мятежной страсти в нашей поэзии, мы можем также отметить германское терпение и разумность в ней, и получить таким образом второе доказательство того, насколько смешанным духом мы обладаем. После "Лливарха Хена":...

Как зол был жребий, уготованный Лливарху, в ночь, когда он появился на свет...

после байроновских: -

Сосчитай все радости, что видели часы твои.

Возьмите это из Саути, в ответ на вопрос, хотел бы он повторить свою молодость:-

Жалею ли я о прошлом?
Прожил бы я снова
Утренние часы жизни?
Нет, Уильям, нет, не так!
Слава Богу, который сделал меня таким, какой я есть,
Другим бы я не был.

Здесь мы видим другую сторону нашего существа; германская доброта, покорность и верность природе вместо кельтского титанизма.

Быстрое чувство кельтов к благородному и выдающемуся дало его поэзии стиль; его неукротимая личность придала ей гордость и страсть; его чувствительность и нервная экзальтация дали ей еще лучший дар - дар передавать с удивительным великолепием волшебное очарование природы. Лесное уединение, бурлящий родник, полевые цветы - все это есть в романтике. Они обладают таинственной жизнью и изяществом; они - дети самой природы и передают ее тайну таким образом, что становятся чем-то совершенно иным, чем леса, воды и растения греческой и латинской поэзии. Этой тонкой магией кельтский роман владеет в такой степени, что кажется невозможным поверить, что эта сила не пришла в роман от кельтов. [133] Магия - это именно то слово, которым она обозначается, - магия природы; не просто красота природы, которой обладали греки и латиняне; не просто честный привкус земли, верный реализм, которым обладали германцы; но интимная жизнь природы, ее странная сила и ее сказочное очарование. Как саксонские названия мест с приятным запахом земли в них, - Уизерсфилд, Такстед, Шалфорд, - противопоставляются кельтским названиям мест с их проникновенной, возвышенной красотой, - Велиндра, Тинтагель, Каэрнарвон, - так и домашний реализм германской и норвежской природы противопоставляется сказочной прелести кельтской природы. Гвидион хочет найти жену для своего ученика: "Что ж, - говорит Мат, - мы постараемся, я и ты, с помощью чар и иллюзий, создать ему жену из цветов". И взяли они цветки дуба, и цветки веника, и цветки луговой сладости, и создали из них деву, прекраснейшую и изящнейшую из всех, что когда-либо видел человек. И они окрестили ее и дали ей имя Цветок-Аспект". Кельтская романтика

полна подобных изящных штрихов, показывающих тонкость чувств кельта в этих вопросах и то, как глубоко природа позволяет ему проникнуть в свои тайны. Быстрая капля крови называется "быстрее, чем падение капли росы с травинки тростника на землю, когда июньская роса самая сильная". А вот как описывается Олвен: "Волосы ее были желтее цветка метлы, а кожа блее пены волны, и руки и пальцы ее были прекраснее цветков древесной анемоны среди брызг луговых фонтанов". По красоте это трудно превзойти; а по волшебной ясности и близости возьмите следующее:-

И вечером Передур вошел в долину, и в начале долины он пришел к келье отшельника, и отшельник принял его с радостью, и там он провел ночь. А утром он встал и, когда вышел, увидел, что накануне выпал снег, а перед кельей ястреб убил дикую птицу. Шум коня спугнул ястреба, и на птицу сел ворон. И Передур стоял и сравнивал черноту ворона, и белизну снега, и красноту крови с волосами дамы, которую он любил, которые были чернее ворона, и с ее кожей, которая была блее снега, и с двумя ее щеками, которые были краснее, чем кровь на снегу".

А вот это, возможно, менее поразительное, но не менее прекрасное: - "И вот рано утром Герайнт пришел к ней.

Рано утром Герайнт и Энид вышли из леса и попали на открытую местность, где по одну сторону были луга, а по другую - косилки, косившие луга. И была перед ними река, и лошади наклонялись и пили воду. И поднялись они от реки по крутому берегу, и встретили там стройного юношу с ранцем на шее, а в руке у него был маленький синий кувшин, а на горлышке кувшина - чаша".

И тут пейзаж, до этого момента такой греческий в своей ясной красоте, внезапно становится волшебным под влиянием романтики: - "И увидели они высокое дерево.

"И увидели они на берегу реки высокое дерево, одна половина которого была объята пламенем от корней до верхушки, а другая половина была зеленая и в полном цвету".

Магия - вот слово, на котором следует остановиться, - магически яркая и близкая интерпретация природы; ведь именно в этом заключается особое очарование и сила эффекта, на который я обращаю внимание, и именно к этому чувствительность кельта дает ему особую способность. Но этот вопрос требует довольно тонкого подхода, и в нашей критике легко допустить ошибки. Во-первых, Европа постоянно стремится стать все более и более единым сообществом, и мы становимся европейцами, а не просто англичанами, французами, немцами, итальянцами; поэтому, какие бы склонности или качества ни приносил один народ в духовную работу, им подражают другие, и таким образом они становятся общим достоянием всех. Поэтому все столь прекрасное и привлекательное, как природная магия, о которой я говорю, непременно появится в наши дни в произведениях кельтов, или англичан, или французов, а также в произведениях немцев или итальянцев; но на нем будет лежать печать совершенства и неповторимости в тех литературах, где оно родное, чего не будет в литературах, где оно не родное. Новалис или Рюккерт, например, прикованы к природе и, несомненно, чувствуют природную магию; грубоватый критик легко припишет им и немцам кельтскую тонкость такта, кельтскую близость к природе и ее тайне; Но вопрос в том, есть ли в штрихах немецкой картины природы^[136] та неизъяснимая тонкость, очарование и совершенство, которые присущи кельтам в только что процитированных произведениях, или Шекспиру в его нарциссе, Вордсворту в его кукушке, Китсу в его "Осени", Оберману в его горной березе или в его пасхальной маргаритке среди швейцарских ферм. Чтобы решить, где изначально находится дар к природной магии, является ли он кельтским или германским, мы должны решить этот вопрос.

Во-вторых, существует множество способов обращения с природой, и мы здесь рассматриваем только один из них; но грубый и готовый критик воображает, что все это одно и то же, пока с природой вообще обращаются, и не проводит необходимого различия между способами обращения с ней. А способов этих много; сейчас я упомяну четыре из них: есть обычный способ обращения с природой, есть верный способ обращения с природой, есть греческий способ обращения с природой, есть магический способ обращения с природой. Во всех этих трех способах взгляд направлен на объект, но с разницей; в верном способе обращения с природой взгляд направлен на объект, и это все, что можно сказать; в греческом - взгляд направлен на объект, но добавляются легкость и яркость; в магическом - взгляд направлен на объект, но добавляются очарование и волшебство. В обычном обращении с природой глаз не направлен на объект; что это значит, мы все знаем, стоит только вспомнить нашу поэзию восемнадцатого века:...

Как когда луна, светящаяся в ночи...

чтобы привести множество примеров. Латинская поэзия тоже предоставляет множество примеров; если мы возьмем это из "*Гиласа*" Проперция: - ...

. ...manus heroum...

Mollia composita litora fronde togit-

рядом со строкой Феокрита, которой она была предложена: - ...

λεῖψιν γὰρ σφιν ἔκειτο μέυας, στίβαδεςσιν ὄνειαρ-

мы получаем в один и тот же момент хороший образец как обычного, так и греческого способа обращения с природой. Но и из нашей собственной поэзии мы можем почерпнуть образцы греческого способа обращения с природой, равно как и обычного: например, у Китса

Что за городок на берегу реки или моря,
Или в горах с тихой цитаделью,
Опустел от своих жителей в это благочестивое утро?

это греческая поэзия, такая же греческая, как вещи Гомера или Феокрита; она написана с учетом объекта, добавляется лучезарность и светлая ясность. Немецкая поэзия изобилует образцами верного обращения с природой; прекрасный пример можно найти в строфах под названием *Zueignung*, приложенных к стихам Гете; утренняя прогулка, туман, роса, солнце, настолько верны, насколько это возможно, они даны с учетом объекта, но на этом достоинства произведения, как обращения с природой, заканчиваются; Ни греческого сияния, ни кельтской магии не прибавляется; сила их не в том, что придает достоинство данному стихотворению, а в силе совсем другого рода, в силе нравственного и духовного чувства. Но силу греческого сияния Гете мог придать своему обращению с природой, и притом благородно, в чем может убедиться каждый, кто прочтет его "*Странника*" - стихотворение, в котором странник встречается с крестьянкой и ее ребенком у их хижины, построенной из развалин храма близ Кумы. Только силу природной магии Гете, как мне кажется, не дает; в то время как Китс по своему желанию переходит от греческой силы к той, которая, как я уже сказал, кельтская; от его:...

Какой маленький городок, у реки или на берегу моря...

к его:-

Белый боярышник и пасторальный эглантин,
быстро увядающие фиалки, покрытые листьями...

или его:-

. ...волшебные створки, открывающиеся на пену
опасных морей, в затерянных сказочных странах...

в которых звучит та же нота, что и в тех отрывках, которые я цитировал из кельтского романа,
и звучит она с подлинной и безошибочной силой.

Шекспир в обращении с природой касается этой кельтской ноты так изысканно, что,
возможно, человек склонен постоянно искать в нем кельтскую ноту и не распознавать
греческую, когда она появляется. Но если внимательно отнестись к разнице между этими
двумя нотами и помнить о таких вещах, как вергилиевские "источники, поросшие мхом, и
трава, мягче сна".

Muscosi fontes et somno mollior herba...

как и его очаровательный собиратель цветов, который...

Pallentes violas et summa papavera carpens
Narcissum et florem jungit bene olentis anethi-

как его айва и каштаны.

. ... cana legam tenera lanugine mala
Castaneasque nuces . . .

тогда, я думаю, мы будем склонны сказать, что у Шекспира...

Я знаю берег, где цветет дикий тимьян,
Где растут оклипсы и кивающая фиалка,
Весь покрытый роскошным кустарником,
Сладкими мускусными розами и эглантином...

В основном здесь звучит греческая нота. Затем, опять же в его:...

. ...посмотри, как пол небесный
Густо инкрустирован патинами из яркого золота!

мы находимся в точке перехода от греческой ноты к кельтской; здесь есть греческая ясность
и яркость, а также кельтская воздушность и волшебство. Затем мы слышим неповторимую
кельтскую ноту в таких отрывках, как:...

Мы встретились на холме, в долине, в лесу или на лугу,
У мощеного фонтана или у камышового ручья,
Или на берегу моря...

или вот это, последнее, которое я процитирую: -

Луна светит ярко. В такую ночь, как эта,
когда сладостный ветер нежно целует деревья,
И они не шумят, в такую ночь
Троил, я думаю, взошел на троянские стены...

. ...в такую ночь

А Этбе в страхе срывала росу...

. ...в такую ночь

Стояла Дидо, с ивой в руке,

На диких морских берегах, и махала рукой.

Чтоб снова в Карфаген пришла.

И эти последние строки настолько пропитаны и опьянены сказочной росой того природного волшебства, которое является нашей темой, что я не могу сделать ничего лучше, чем закончить ими.

А теперь, с этими доказательствами в руках, давайте обратимся к тем, кто говорит, что напрасно искать кельтские элементы в любом англичанине, и спросим их, во-первых, понимают ли они, что мы подразумеваем под силой природной магии в кельтской поэзии; во-вторых, не демонстрирует ли английская поэзия эту силу; и, в-третьих, откуда, по их мнению, она взялась у английской поэзии?

Предвижу, что меня обвинят в том, что в моих словах прозвучало отрицание того или иного дара немцев, и в том, что мы несколько неблагородно и за их счет утверждаем свое отличие от них. Дело в том, что немногие люди действительно заботятся о тщательном анализе в своей критике; они просто используют критику как средство для того, чтобы воздавать хвалу тому, что им нравится, и порицать то, что им не нравится. Те из нас (а их немало), кто в большом долгу перед немецким духом и немецкой литературой, не любят, когда им говорят, что в них не хватает каких-то сил; мы похожи на тех барышень, которые считают, что герой их романа - это только половина героя, если в нем не соединены все совершенства. Но природа не творит ни героев, ни расы в соответствии с представлениями барышень. Мы все такие, какие мы есть, герой и великий народ такие, какие они есть, в силу наших ограничений и сил, в силу недостатка чего-то, а также в силу обладания чем-то. Не всегда обладание тем или иным даром является выигрышем, а отсутствие этого дара - проигрышем. Наш великий, наш единственный первоклассный свод современной поэзии - немецкий; великое дело современной поэзии - нравственное истолкование, с независимой точки зрения, человека и мира, - только немецкая поэзия, поэзия Гете, со времен греков добилась больших успехов. Сила стиля Кэмпбелла, природная магия Китса и Вордсворта, титаническая индивидуальность Байрона могут быть недостаточны для этой поэзии; но посмотрите, чего она достигла без них! Насколько больше, чем Кэмпбелл с его силой стиля, Китс и Вордсворт с их природной магией и Байрон с его титанической индивидуальностью! Почему для той огромной серьезной задачи, которую она должна была выполнить, устойчивость немецкой поэзии, ее уход от земли, ее терпеливая верность природе, ее использование большой простоты речи, поэтические недостатки с одной точки зрения, были защитой и помощью с другой. Простота и серьезность двух строк, которые я уже цитировал у Гете: -

Es bildet ein Talent sich in der Stille,

Sich ein Character in dem Strom der Welt-.

в сравнении с игрой и силой стиля Шекспира или Данте, сразу наводят на мысль о разнице между задачей Гете и их задачей и о пригодности верного трудолюбивого немецкого духа для выполнения своей собственной задачи. Задача Данте заключалась в том, чтобы

изложить урок мира с точки зрения средневекового католицизма; основа духовной жизни была дана, Данте не нужно было создавать ее заново. Задача Шекспира состояла в том, чтобы изложить картину мира, когда дух человека вновь пробудился к владению миром в эпоху Возрождения. Зрелище человеческой жизни, предоставленной самой себе и рассказывающей свою историю, но показанной во всей своей полноте, разнообразии и силе, является в этот момент великим делом; но, если вдаваться глубже, основой духовной жизни в это время все еще является традиционная религия, реформированная или нереформированная, христианства, и Шекспир не должен создавать новую основу. Но когда пришел Гете, Европа потеряла основу духовной жизни; она должна была найти ее снова; задача Гете - неизбежная задача современного поэта отныне, - как и греческого поэта во времена Перикла, состояла не в том, чтобы прочесть возвышенную проповедь на заданный текст, как Данте, не в том, чтобы показать все царства человеческой жизни и славу их, как Шекспир, а в том, чтобы истолковать человеческую жизнь заново и дать ей новую духовную основу. Это не только работа для стиля, красноречия, очарования, поэзии; это работа для науки; и научный, серьезный немецкий дух, не увлеченный тем или иным опьянением уха, глаза и самолюбия, имеет к ней особые склонности.

С другой стороны, мы не обязательно выигрываем от смешения элементов в нас; мы видели, как столкновение натур в нас мешает и стесняет наше поведение; мы могли бы быть более привлекательными, мы могли бы быть более успешными, если бы мы были единым целым. Наша неуверенность во вкусе, наша эксцентричность в значительной степени, без сомнения, происходят от того, что мы не едины, что у нас нет фиксированного, рокового, духовного центра притяжения. Рю де Риволи - это одно, Нюрнберг - другое, Стоунхендж - третье; но мы тянемся ко всем трем и объединяем их вместе. Переводы мистера Тома Тейлора из бретонской поэзии представляют собой хороший пример такого смешения; у него есть искреннее чувство к этим кельтским вещам, и часто, как в *"Злой дани Номеноз"* или в *"Лорде Нанне и фее"*, он, как в движении, так и в выражении, верен и уместен; но в нем есть и своего рода тевтонизм и латинизм, и поэтому он не может удержаться от смешения с кельтским штаммом таких несопоставимых вещей, как

'Twas mirk, mirk night, and the water bright
Troubled and drumlie flowed -

что, очевидно, является лоуленд-скотским; или как:-

Foregad, but thou'rt an artful hand!

что по-английски stagey; или как:-

Дочери Градлона, яркой и сияющей,
Ее возлюбленный нежно шептал.
Bethink thee, sweet Dahut! the key!

что является анакреонтическим в манере Тома Мура. Да, иметь несколько струн на своем луке - это ли не преимущество! Если бы мы были все германцами, мы могли бы иметь науку Германии; если бы мы были все кельтами, мы могли бы быть популярными и приятными; если бы мы были все латинизированы, мы могли бы управлять Ирландией, как французы управляют Эльзасом, не вызывая к себе отвращения. Но теперь у нас достаточно германизма, чтобы сделать нас филистимлянами, и достаточно норманизма, чтобы сделать нас властными, и достаточно кельтизма, чтобы сделать нас самосознательными и неловкими; но немецкой верности природе, латинской точности и ясного разума, кельтской быстроты и духовности нам не хватает. Возможно, если мы обречены на гибель (да отвратит

Небо это предзнаменование!), нас погубит наш кельтизм, наше своеволие и нежелание терпеть идеи, наша неспособность видеть, куда идет мир; и все же те самые кельты, по родству с которыми мы погибаем, будут все время ненавидеть и поносить нас.

Это несколько неприятный взгляд на дело; но если он верен, то неприятность не делает его менее верным, и мы всегда становимся лучше, если видим правду. Однако то, что мы видим, - это еще не вся правда. Пока эта смешанная структура нашей природы владеет нами, мы платим ей дань и служим ей; как только мы владеем ею, она платит нам дань и служит нам. Пока мы слепо и невежественно движемся под действием сил нашей природы, их противоречивость сбивает нас с толку и приводит в уныние; как только мы ясно осознаем, что они собой представляют, и начнем применять к ним закон меры, контроля и руководства, их можно будет заставить работать на наше благо и вести нас вперед. Тогда мы можем иметь благо нашей немецкой части, благо нашей латинской части, благо нашей кельтской части; и вместо того, чтобы одна часть вступала в конфликт с другой, мы можем привлечь ее для продолжения и совершенствования другой, когда другая дала нам все хорошее, что она могла дать, и, если на нее давить дальше, могла бы дать нам только ее дефектный избыток. Тогда мы можем использовать немецкую верность природе, чтобы дать нам науку и избавить нас от наглости и своеволия; мы можем использовать кельтскую быстроту восприятия, чтобы дать нам деликатность и избавить нас от черствости и филистерства; мы можем использовать латинскую решительность, чтобы дать нам напряженный четкий метод и избавить нас от суетливости и безделья. Уже сейчас, в своем нетренированном состоянии, эти элементы дают в нашей жизни и литературе признаки того, что они присутствуют в нас, и своего рода пророчество о том, что они могли бы сделать для нас, если бы их правильно наблюдали, тренировали и применяли. Но этого еще не произошло; мы до смерти оседлали одну силу нашей природы; мы не будем никем, кроме англосаксов, ни в Старом Свете, ни в Новом; и когда наша раса построила Болд-стрит в Ливерпуле и признала ее очень хорошей, она спешит через Атлантику, строит Нэшвилл, Джексонвилл и Милджвилл и думает, что несравненно лучше исполняет замыслы Провидения. Но настоящими англосаксами, просто и искренне укорененными в германской природе, мы не являемся и быть не можем; все, чего мы добились своей односторонностью, - это размыли и запутали естественную основу в себе и превратились в нечто эксцентричное, непривлекательное и негармоничное.

Покойный мистер Кобден, человек изысканного ума и обаятельного характера, считал, что лучшее знакомство с Соединенными Штатами - это великая панацея для нас; однажды в своей речи он сетовал на невнимание к ним в наших учебных заведениях и, кажется, думал, что если бы нашу бесхитростную молодежь в Оксфорде меньше учили об Илиссе и больше о Чикаго, нам всем было бы от этого только лучше. Чикаго, несомненно, имеет свои претензии к нам; но очевидно, что с той точки зрения, к которой я вел, стимулирование нашего англосаксонизма, как это предполагается предложением мистера Кобдена, не кажется нам наиболее необходимым; ведь наши американские братья, как и мы, скорее должны пытаться умерить пламя англосаксонизма в своей собственной груди, чем просить нас раздуть его в своей. Поэтому я склонен просить Оксфорд, вместо того чтобы оправдывать свое чрезмерное пристрастие к Илиссу лекциями о Чикаго, дать нам толкователя еще более отдаленного объекта, чем Илисс, - кельтских языков и литературы. И все же, почему я должен называть его далеким, если, как я старался показать, в духовном каркасе нас, англичан, живет и действует кельтское волокно, о котором мы, возможно, даже не задумывались. *Чужие в речи, в религии, в крови!* сказал лорд Линдхерст; филологи признали его правоту в отношении речи, физиологи - в отношении крови; и, возможно, если взять религию в широком, но истинном смысле всей нашей духовной деятельности, те, кто следил за тем, что я здесь говорил, подумают, что кельты не так уж и чужды нам в религии. Но, во

всяком случае, давайте подумаем, что из сократившихся и уменьшившихся остатков этой великой первобытной расы все, за одним незначительным исключением, принадлежит английской империи; только Бретань не наша; у нас есть Ирландия, Шотландское нагорье, Уэльс, остров Мэн, Корнуолл. Они - часть нас самих, мы глубоко заинтересованы в том, чтобы знать их, они глубоко заинтересованы в том, чтобы их знали мы; и все же в великих и богатых университетах этой великой и богатой страны нет кафедры кельтов, нет изучения или преподавания кельтских вопросов; те, кто хочет их получить, должны ехать за ними за границу. Это не правильно и не разумно, что так происходит. В последние полвека в Ирландии была группа студентов-кельтистов, - группа, которой, увы, в последнее время занята смерть, - откуда Оксфорд или Кембридж могли бы взять замечательного профессора кельтского языка; и с авторитетом университетской кафедры, великий кельтский ученый, по предмету, который мало известен, и где все охотно подчинялись бы ему, мог бы к этому времени удвоить наши возможности для познания кельтского языка, приобретая для этой страны кельтские документы, недоступные здесь, и предотвращая рассеивание других, которые были доступны. Английское правительство мало что делает для науки или литературы, но если бы Юджин О'Карри с кафедры кельтского языка в Оксфорде обратился к правительству с просьбой достать ему копии или оригиналы кельтских сокровищ в Бургундской библиотеке в Брюсселе или в библиотеке колледжа святого Исидора в Риме, даже английское правительство не смогло бы ему отказать. Бесценные ирландские рукописи из библиотеки Стоу покойный сэр Роберт Пил в 1849 году предложил купить для Британского музея; лорд Маколей, один из попечителей музея, заявил с той самоуверенной поверхностностью, которая так восхищает ораторов и авторов передовиц и так невыносима для всех искателей истины, что он не видит во всей коллекции ничего, что стоило бы приобрести для музея, кроме переписки лорда Мелвилла об американской войне. Иными словами, эта переписка лорда Мелвилла была единственной вещью в коллекции, о которой знал или заботился сам лорд Маколей. Возможно, оксфордскому или кембриджскому профессору кельтского языка было бы позволено высказаться по вопросу кельтских рукописей даже против лорда Маколея. Рукописи были куплены лордом Эшбернэмом, который держит их под замком и никому не позволяет с ними знакомиться (по крайней мере, до того момента, когда О'Карри опубликовал свои "*Лекции*"), "опасаясь, что фактическое знакомство с их содержанием снизит их ценность как предмета любопытства при какой-нибудь будущей передаче или продаже". Кто знает? Возможно, оксфордский профессор кельтского языка смог бы тронуть ожесточенное сердце лорда Эшбернэма.

Сейчас, когда узкий филистерство, которое долгое время устраивало все по-своему в Англии, показывает свои естественные плоды, и мы начинаем чувствовать стыд, беспокойство и тревогу по этому поводу; сейчас, когда мы осознаем, что пожертвовали филистерству культуру, и проницательность, и достоинство, и признание, и вес среди народов, и влияние на события, которые нас глубоко волнуют, и контроль над будущим, и что оно даже не может дать нам рай для дураков, который оно нам обещало, но склонно сломаться и оставить нас с Mr. Roebuck's и Mr. Lowe's, восхваляющие наше несравненное счастье, и самый большой тираж в мире, гарантированный *Daily Telegraph*, для нашего единственного утешения; в такой момент нужна некоторая умеренность, чтобы не атаковать филистерство штурмом, а разминировать его такими постепенными средствами, как медленное приближение культуры и введение кафедр кельтского языка. Но жесткую неинтеллигентность, которая сейчас является нашим бичом, нельзя победить штурмом; она должна быть подавлена и ослаблена культурой, ростом разнообразия, полноты и сладости нашей духовной жизни; а этого можно достичь только изучением вещей, которые находятся вне нас, и изучением их бескорыстно. Давайте воссоединимся с нашим лучшим разумом и с миром посредством науки; и пусть одной из наших ангельских мстостью филистимлянам,

которые среди прочих грехов являются виновниками фенианства, будет основание в Оксфорде кафедры кельтологии и передача через нежное служение науки послания о мире Ирландии.

ФУТБОЛЬНЫЕ ССЫЛКИ

[0a] См. с. 28 следующего очерка. [Начинается словами: "Для другой стороны это не трудно..."-DP].

[0b] См. особенно стр. 9, 10, 11 следующего очерка.

[4] Лорд Стрэнгфорд замечает по поводу этого отрывка: - "Ваш Гомер и ваши киммерийцы - это, конечно, всего лишь светские фигуры, которые следует принимать в риторическом и субъективном смысле. Как таковые, я принимаю их, но выражаю протест против "подлинного языка его предков". Современные кельтские языки по отношению к старому кельтскому, который слышал Юлий Цезарь, в общем, то же самое, что современные романские языки по отношению к латыни самого Цезаря. Уэльский язык, по сути, является *детритом*; язык в категории современного французского или, если говорить менее грубо и приближенно, старого провансальского, не в категории литовского и тем более не в категории баскского. Путем истинного индуктивного исследования, основанного на точном сравнении таких форм кельтской речи, устной и записанной, какими мы располагаем сейчас, современная филология, насколько это было возможно, преуспела в восстановлении некоторых форм родительской речи и при этом добилась не самого поразительного из своих многочисленных триумфов; ведь эти самые формы, восстановленные таким образом, были с тех пор проверены на все сто процентов их фактическим обнаружением в старых галльских надписях, недавно ставших известными. Уэльский язык в его нынешнем виде является современным, его грамматика, за исключением глаголов, построена из фрагментов более ранних форм, а словарный запас сильно латинизирован: два из шести слов, приведенных здесь, являются латинскими словами Империи. При правильном понимании это повышает ценность современного кельтского языка, а не обесценивает его, поскольку служит для его исправления. Для меня удивительно, что валлийский язык сохранил свою целостность под железным давлением четырехсотлетнего римского владычества. Современная валлийская стойкость и сплоченность под английским давлением - ничто по сравнению с тем, что было тогда".

[14] Здесь я снова позволю себе процитировать лорда Стрэнгфорда: "Когда кельтские языки впервые были взяты в руки на заре сравнительного филологического исследования, тенденция была такова, что для всех практических результатов их скорее отделяли от индоевропейской совокупности, чем объединяли с ней. Огромная пропасть, некогда существовавшая между ними, была сужена на поверхности, но значительно и неопределенно углублена. Сразу стало ясно, что их лексика и часть грамматики совершенно индоевропейские, но у них нет падежных окончаний существительных, их вообще нет в валлийском, нет и в гэльском; их *фонетика* кажется первобытной и необъяснимой, а из их местоимений нельзя было сделать ничего, чего нельзя было бы сделать из многих совершенно неарийских языков. Поэтому они координировались не с каждым отдельным арийским языком, а с общим комплексом арийских языков, и считались предшествующими им и отдельными от них, как бы отставшим авангардом европейской колонизации или завоевания с Востока. Причиной такого заблуждения было то, что их записи оставались совершенно неисследованными с точки зрения исторического изучения языка, и никто не беспокоился об относительном возрасте и развитии форм, так что филологи были склонны принимать их такими, какими их вложили им в руки не критичные или извращенные туземные

комментаторы и писатели, чьи грамматики и словари изобиловали ошибками и откровенными подделками. Одно, и только одно, привело к истине: тринадцать долгих лет, проведенных Цойсом в терпеливом исследовании древнейших кельтских записей в их реальном состоянии, строка за строкой и буква за буквой. Тогда впервые был заложен фундамент кельтских исследований, но великий филолог не дожил до появления надстройки, которая так и не была возведена, если бы не он. Причард первым указал верный путь, а Бопп в своей монографии 1839 года, как обычно, проявил несравненную и виртуозную проницательность, но за неимением надежных записей кельтских слов и форм, на которых можно было бы работать, истина оставалась скрытой или затуманенной до публикации *Gramatica Celtica*. Доктор Арнольд, человек прошлого поколения, использовавший в своих исторических трудах больше неопределенных и нефиксированных доктрин сравнительной филологии, чем нынешнее поколение при свете полуденного света *Vergleichende Grammatik*, был, таким образом, оправдан в своем мнении филологией того периода, которой он просто дал расширенное историческое выражение. Главным заблуждением, как тогда, так и сейчас, было то, что различие между гэльскими и кимрскими кельтами возникло раньше".

[25] Доктор О'Конор в своем *Каталоге стоуновских MSS* (цитируется по О'Карри).

[26] О'Карри.

[29] Здесь, где должна наступить суббота, в рукописи чего-то не хватает.

[66] См. *Les Scythes, les Ancêtres des Peuples Germaniques et Slaves*, par F. G. Bergmann, professeur à la faculté des Lettres de Strasbourg: Colmar, 1858. Но этимологии профессора Бергманна часто, говорит лорд Стрэнгфорд, являются "ложными огнями, удерживаемыми неуверенной рукой". И лорд Стрэнгфорд продолжает: "Земля апиев, несомненно, означала водные просторы, *Meer-Umschlungon*, у доэллинических греков, так же как та же земля называется *Morea* у современных послеэллинических или цыганских греков от *more*, названия моря в славянском наречии его жителей в течение середины средних веков. Но оно связано лишь отдаленным и вторичным родством, если вообще связано, с *avia* в Скандинавии, если предположить, что это настоящее германское слово для *воды*, которое, если бы оно дошло до нас в готском языке, было бы *avi*, родительный *падеж aujōs*, а не просто латинизированное окончание. Скиф - это, несомненно, скорее отрицательный, чем положительный термин, подобно нашему *индийскому* или *туранскому*, используемому современными этнологами для обозначения кочевников и варваров всех видов и рас к северу и востоку от Черного и Каспийского морей. Связывать их название с чем-либо пока небезопасно; вполне вероятно, что оно относится как к луку и стрелам, так и к щиту, и связано с нашим словом *стрелять*, *sceótan*, *skiutan*, литовским *szau-ti*. Некоторые из скифских народов могли быть анарцами, аллофилами, монголами; некоторые были явно арийцами, и не только арийцами, но и иранцами, как лучше всего показано в мемуаре, прочитанном в Берлинской академии в прошлом году; доказательства были впервые указаны в грубой форме славянским антикваром Шафариком. Монеты, глоссы, имена собственные и надписи подтверждают это. Таргитаос (не -тавус) и все остальное - догадки или ошибки. Геродотовское Ταῖτι для богини Весты связано не с корнем *div*, откуда *Dêvas*, *Deus* и т. д., а с корнем *tap*, в латинском *tep* (из *tepere*, *tepefacere*), славянском *tepl*, *topl* (для *tep* или *top*), в современном персидском *tâb*. *Thymele* обозначает очаг как место дыма (θύω, таким образом, *fumus*), но *familia* обозначает домашнее хозяйство от *famulus* для *fagmulus*, корень *fag* приравнивается к санск. *bhaj*, *servira*. Луканский *Hesus* или *Esus* может быть справедливо сопоставлен с валлийским *Hu Gadarn*, но никакая замена букв не может оправдать его связь с *Gaisos*, копьем, а не мечом, вергилиевским *gæsum*, а с. *gár*, наш глагол *gore*, сохранившийся в своей внешней форме в *gar-fish*. Для *Theuthisks lege Thiudisks*, от

thiuda, populus; в старом высоком немецком *Diutisk, Diotisk, popularis, vulgaris*, деревенское наречие в отличие от культурной латыни; отсюда слово *Dutch, Deutsch*. У наших предков *theód* означало нацию в целом, а *getheóde* - любую речь. Диета в политическом смысле - то же самое слово, но заимствованное у наших немецких кузенов, а не унаследованное от наших отцов. Современная кельтская форма - ирландское *tuath*, в древних кельтах это, должно быть, *teuta, touta*, от которого мы имеем прилагательное *toutius* в галльской надписи Nismes. В осканских мы имеем его как *turta, tuta*, его прилагательное передано в *meddix tuticus* Ливия, мэра или главного магистрата *tuta*. В умбрийских надписях оно звучит как *tota*. В литовском *tauta* - страна, противопоставленная городу, а в старом прусском *tauta* - страна вообще, *en Prusiskan tautan, im Land zu Preussen*".

[68] Лорд Стрэнгфорд отмечает здесь: "Следует упомянуть первоначальные формы Gael - Gaedil, Goidil: в современной гэльской орфографии Gaoidheal, где *dh* не реализуется в произношении. Нет ничего невозможного в соединении корня *this* с корнем *Scot*, если *s* в последнем будет просто протезом. Но все это - *in nubibus*, и дается только как предположение".

[69] Название Эрин, - говорит лорд Стрэнгфорд, - подробно рассмотрено в мастерской заметке Уитли Стоукса в 1-й серии лекций Макса Мюллера (4-е изд.), стр. 255, где показано, что его самой ранней осязаемой формой было *Iverio*. Связь Пикте с Арьей совершенно беспочвенна".

[82] Следует помнить, что это было написано до недавней войны между Пруссией и Австрией.

[84] Этимология принадлежит месье Анри Мартину, но лорд Стрэнгфорд говорит: "Чем бы ни было слово *gai*, оно, несомненно, не кельтское. Есть ли какой-нибудь авторитет для этого слова *gair*, смеяться, или, скорее, "смех", помимо О'Рейли? О'Рейли вообще не авторитет, разве что в той мере, в какой он проверен и принят новой школой. Трудно отказаться от *gavisus*. Но Диез, главный авторитет в романских вопросах, довольствуется тем, что принимает ссылку Муратори на старое высокогерманское *gâhi*, современное *jähe*, резкое, быстрое, внезапное, бодрое, и так в смысле живого, оживленного, приподнятого настроения".

[85] Месье Анри Мартен, чьи главы о кельтах в его "*Истории Франции*" полны информации и интересны.

[97] Вышеприведенная фраза действительно взята из "*Кельнской газеты*". Комментарий лорда Стрэнгфорда здесь таков: "Современный германизм, в общей оценке германизма, не должен быть взят, абсолютно и обязательно, как константа, в которой мы являемся вариантом. Так или иначе, голландские нидерландцы, бесспорно, такие же настоящие голландцы, как и нидерландцы из собственно Германии. Но пишут ли они предложения, подобные этому - *informe, ingens, cui lumen ademptum*? Если нет, то следует задаться вопросом, не как мы отклонились от нормы, а как немцы отклонились от нормы. Наша современная английская проза в простых вопросах зачастую ничем не отличается от прозы короля Альфреда и "*Хроник*". Путешествия Охтера по Северному морю и Вульфстана по Балтике - это то, что каждый день присылают, можно сказать, в Географическое или Этнологическое общество, в том же стиле, с теми же оборотами речи и мыслей".

Масса должна давать нам данные для суждения о массе. Кроме того, см. то, что я сказал на с. 100.

[120] Ирландские монахи, чьи колокола и книги были найдены в Исландии, не могли внести ничего в старинный норвежский дух, ибо они погибли еще до того, как первый норманн ступил на остров. Форма древней норвежской поэзии, известной нам как исландская, по случайности сохранившаяся только на этом острове, несомненно, является пантевтонской с давних времен; на ар и метод ее строго литературного культивирования, должно быть, сильно повлияла современная древнеанглийская национальная поэзия, с которой норманны находились в постоянном контакте; а ее более широкий, свободный и дикий дух должен был быть обусловлен их более свободной и дикой жизнью, не говоря уже об их возбужденном и воинственном язычестве. Они никогда не могли знать кельтов, если только не жили в зародыше с другими тевтонами".

Очень может быть, что лорд Стрэнгфорд прав, но предложение, с которого он начинает, расходится с тем, что утверждает текст, процитированный Зевсом.

[133] Рифма - наиболее яркая характеристика нашей современной поэзии в отличие от поэзии древних, и основной источник для нашей поэзии, ее магии и очарования, того, что мы называем ее *романтическим элементом*, - рифма сама по себе, как показывает вся масса доказательств, пришла в нашу поэзию от кельтов.

[136] Возьмем следующую попытку передать природную магию, которая, как предполагается, пронизывает поэзию Тика: "In diesen Dichtungen herrscht eine geheimnisvolle Innigkeit, ein sonderbares Einverständniss mit der Natur, besonders mit der Pflanzen-und Steinreich. Der Leser fühlt sich da wie in einem verzauberten Walde; er hört die unterirdischen Quellen melodisch rauschen; wildfremde Wunderblumen schauen ihn an mit ihren bunten schnsüchtigen Augen; unsichtbare Lippen küssen seine Wangen mit neckender Zärtlichkeit; *hohe Pilze, wie goldne Glocken, wachsen klingend empor am Fusse der Bäume*;" и так далее. Этот удар по *hohe Pilze*, великим грибам, был бы невозможен для такта и деликатности прирожденного любителя природы, такого как кельт, и мог исходить только от немца, который *изучал* природную магию. Это кричащая фальшивая нота, которая сразу же уносит нас из мира природной магии и дыхания леса в мир театральной магии и запаха газа и апельсиновой корки.